

На извилистых тропинках памяти верными ориентирами остаются события. Не исчезнуть им в мельтешении будней, не раствориться в напластованиях душевной боли.

Куда от себя деться? – сидишь на бережку, опустив ноги в прохладную воду, да с грустью осознаешь, в который раз осознаешь давно усвоенное: что было, то было! Не переписать! Не переиначить!..

Было!

А было это чуть более тридцати лет назад, на изломе войны, здесь – на этой, отсюда легко различимой мельнице, тогда скособоченной, заброшенной.

Вас было трое. Ты, Полина и тот седобородый по кличке Сцепщик.

Вас было трое, а над вами, в провалах крыши, дымилось звездное небо, подкрашенное суриком недостижимого рассвета.

Ты думал о жизни и ждал от нее большего, чем она могла дать. Все твое будущее ограничивалось четвертью часа, а прошлое – той же четвертью часа размышлений плюс прожитым за восемнадцать лет. Ты был с ними, и был одинок. И они были одиноки, хотя в этой мышеловке находились вместе с тобой. А у подножия холма, на опушке березовой рощи, торопил твою жизнь озорной посвист. В нем была твоя смерть. Твой остаток жизни.

Ты напрасно пытал свою память. И напоследок не выискать в ней картин былого – милого. Былое вырисовывалось в картинах иных – страшных: потоками беженцев, налетами «юнкерсов», остекленевшими глазами людей. Это застыло в прошлом. А в настоящем – Полина (пуля в предплечье), Сцепщик (нога прострелена в голени) и ты, подбрасывающий на ладони остывшие автоматные гильзы.

Помнится...

Сцепщик сворачивал самокрутку. В медлительных движениях его пальцев чувствовалась неуверенность: пускать ли ее, последнюю, по кругу? Ты мотнул головой, и кошачьи глаза мужика пыхнули радостью.

– А не спеть ли нам твою? Сейчас! Им назло! – сказал он, затяги-

ваясь махрой.

Твоя... До чего изощрена жизнь! Тычет в лицо смертью и говорит: «Пой!»

Но когда и Полина, вслед за Сцепщиком, подхватила слова припева, ты тоже вынудился протискиваться голосом сквозь колочку собственной песни – наивной и обманной.

*«Даже пулей воспетая смерть
Не сумеет с земли нас стереть...»*

Ты пел, и ты понимал: тебя – именно тебя, почти и не жившего! – смерть с легкостью сотрет в порошок и развеет по ветру.

Нет у тебя уже ни отца, ни матери. Нет у тебя еще детей. Не быть и памяти по тебе ни у кого. Правда, есть у тебя Полина. Но и она нацелена в никуда. Секундой раньше, секундой позже тебя – уйдет...

Сцепщик загасил песню вместе с самокруткой, высветил зажигалкой циферблат карманных часов – луковицу.

– Однако... Время натикало. Ну, надежда... Пора! Иди. Авось проскочишь...

Сцепщик работал на железнодорожной станции. Связь с партизанским отрядом поддерживал через тебя и Полину. В его избе вас и накрыли... А потом огородами вы прорывались с боем к лесу. И вот теперь загнаны на старую мельницу, и тебе, прикрываемому двумя ранеными, надо – без особых шансов на успех – спасти добытые Сцепщиком сведения.

– Ну, надежда, иди!

И ты пошел...

А в заспинье, на мельнице, каждый твой шаг отмерялся автоматными очередями – осужденные на смерть выговаривали у нее жизнь для тебя.

II

— **Н**иколя наш Михайлыч! И чего ты такой скучный? Зачем от людей ушел? Тебя и не дозваться. Кричим, кричим – ау, Михайлыч! А ты? Стыдись, любя!

Директор фотоателье «Прогресс» Илья Кузьмич Рогов – спортивная майка, животик, гуляющий чуть ниже брючного ремня в пухлых ладонях, дымящаяся беломорина в углу рта – спускался с пригорка.

– Нехорошо, дорогой! – Илья Кузьмич кособочил корпусом, загребая босыми ногами траву. – Покинул! Всех покинул! А мы ведь за тебя сейчас... За тебя, любя, гремим бокалами. Эх, родной!

Николаю Михайловичу и впрямь стало как-то неудобно. «Под него», можно сказать, выбили эту автобусную экскурсию – «по местам партизанской славы»,

а он, «воспоминатель», прячется от законного сабантуйчика.

Вздыхнув, он поднялся с влажной травы, пошел на пригорочек к Илье Кузьмичу.

С ним и выявился, поприятельски полуобнявшись, по ту сторону взлобка, у разостланных на лужайке газет с бутербродами, консервами, бутылками.

– Именинника привел, беглеца! – доложил компании Ильи Кузьмич.

– Штрафную ему! – ретушерша Нина – джинсовая курточка, джинсовая юбка, стрижка «под мальчика» – протиснулась птичьим голоском сквозь шумную бредь застолья. И лить через край. И, расплескивая, с пластмассовым стаканчиком к Николаю Михайловичу. – За орден! За Красную, Михайлыч, Звезду!

Николай Михайлович аккуратно вобрал в себя водку. Поблагодарил Нину кивком головы. И лишь после этого, уже багровый от выпитого, присел к выдвинутой специально для него на край газетного листа банке бычков в томатном соусе, намочил в ней хлеб и начал сочно пережевывать приятную на вкус кислятинку.

Илья Кузьмич примостился подле него на корточках, сноровисто наполнил горячим стаканчик.

– А вы, братцы-кролики, не поддержите Николю нашего Михайлыча? – лился довольствием, нежился в доброте сердца, повернутого разом ко всем. – Гришук! На, прймай! Не последняя, но не забывай о ГАИшниках за баранкой! – шутливо погрозил пальцем. – Семенчик, любя! Твоя порция. А? – хитро подмигнул,

со значением. – Не подведешь? Не умыкнешь в Израиль тайный рецепт нашей водочки? – и к ретушерше: – Нинусь, тебя тоже не забыл нарком! Выделил! Наши фронтовые сто грамм! Из личных запасцев!

– Я пью только свежую водку, – улыбнулась женщина.

– А от коньячка первой свежести морду воротим? Пять лет выдержки, и ни в одном глазу! – Илья Кузьмич открыл лежащий у ног потертый портфель крокодиловой кожи – о двух замках и двух ремешках с застежками, вынул солдатскую фляжку времен войны и нацедил в алюминиевый колпачок золотистой жидкости. – Наркомовская норма – дело святое! А святое – всегда свежее. Поняла, Нинусь? Цени и помни, девочка!

– Ценю и помню.

– Тогда поехали.

– За орден! – сказал Гришук.

Илья Кузьмич разлил по новой.

– Повторим?

Повторили. Понравились сами себе еще круче.

– Качать Николю нашего Михайлыча! – раскрылись в любви ко всему живому. И к себе самим.

Николай Михайлович смутно отстранялся, топырил пальцы. Но поздно спохватился. Вознесли.

Маши теперь руками, будто отбиваешься от пчелиного роя. Бесплезно! Не отобьешься от человеческой самовлюбленности.

Наконец, укачавшись, поставили его на ноги, мило выдохнули:

– Каков!

Зыбкой сладостью отдавало для него, утомленного и растормошенного, это слово...

Отдавало и горечью...

Ты помнишь ее глаза. Ты помнишь брусничный вкус ее губ. Ты помнишь, как уходил с ней далеко в лес, чтобы без посторонних – ну их! – и читал ей свои стихи. Она слушала молча. Она вбирала в себя слова, иногда не совсем понятные, но ласкающие душу, мягко ласкающие, как твои ладони, скользящие по ее щеке.

Был май. Весеннее солнце медово точилось в букетиках первых цветов. И до звездного неба, подкрашенного в провалах крыши суриком недостижимого рассвета, оставалась целая вечность – около шестидесяти дней, полутора тысяч часов и несчетного многообразия минут.

Растеклись минуты твои на воспоминания. Не собрать их, не

разложить веером.

Помнится, ты говорил:

– Поля! Надо ребятам сказать. Отправят тебя на Большую землю. И мне и тебе спокойнее. Там и родишь. В безопасности.

А она? Она прикрывала губами твои слова, вбирала их в пригоршню и – фью! – раздувала над благоуханьем цветов.

– Ох уж ты мой графушка Николая из романа «Война и мир»! У нас в лесу романы пишет любовь да живая природа, не Львы Толстые. Мы здесь и без Большой земли справимся. Научились за тысячи лет до Большой земли... «В муках да поте лица...» А будет у нас сын, назову... да, как просишь... именем твоего отца. Понимаю. У вас за живых давать имена не принято. А ты мне нужен живым... люба!

IV

– Люба! – Николай Михайлович поморщился от прикосновения липучей ладони к плечу, от прикосновения, означающего открытость Ильи Кузьмича, начальника и одновременно друга. – Ну, так расскажи, люба, всей честной компании, как орден нашел тебя.

Николай Михайлович неопределенно пожал плечами и вроде бы невзначай скинул с себя чужую руку.

– Нашел... Выходит, искал меня, вот и нашел...

– Э-э, Николая наш Михайлыч! Жизнь не по песне устроена. Кто ищет, тот не всегда найдет, дорожку! – Илья Кузьмич хлопнул себя

по звучным ляжкам, хохотнул, будто непреднамеренно выделил тайный, одному ему ведомый смысл собственной шутки. – Орден тебя, люба, без людей найти не мог. Ни в какую! Люди тебе поспособствовали. А среди них... – выразительная пауза, настоящая на улыбке. – Что? Неправда моя? Правда, Николая наш Михайлыч! А ты правды не бойсь! Не кусается правда, если она не в печатном виде, когда цена ей две копейки. – И опять смешок, отмечающий двойственность мысли. – Так она выглядит «се-ля-ви», а по нашему жизнь. Помнишь? В позапрошлый май, когда собрались на праздник всем скопом у Нину-си, я спросил: «А при всех ли ты

регалиях, брат-человек партизанской выучки?»

Николай Михайлович отрицательно покачал головой. То, что было более четверти века назад, он помнил. А то, что случилось на днях, мог и подзабыть.

– Не помнишь? – досадливо протянул Илья Кузьмич. – Напоминаю еще раз, забывчивая ты голова! Я у тебя спросил: «А при всех ли ты регалиях?»

Николай Михайлович вопросительно посмотрел на Нину: напомнит ли? Но и в ее взгляде никакой подсказки не уловил. Напились они тогда, да и вообще в ту ночь им было не до наводящих вопросов своего начальника. Выдохся из памяти его вопрос, столь же пустой, как, должно быть, и ответ на него. Выдохлись из памяти и дежурные – ходкие в этот праздник! – восклицания по поводу его наград – медалей и ордена. И его, в такой же мере дежурные, комплименты женам сослуживцев, да и вся та вечеринка выдохлась из памяти – что тут поделаешь! Впрочем, нет... не вся... тогда он в первый раз остался у Нинули. Да, именно тогда! Это помнится. И Николай Михайлович, вспомнив дурманное дыхание любимой женщины, годящейся ему чуть ли не в дочки, почувствовал себя как-то неловко. Внутренняя неловкость, ощутил, передалась почему-то и Нине. Он смутился в ожидании ее взгляда, ищущего, наверное, сейчас его взгляд, направленный на Илью Кузьмича.

– Ну? – нетерпеливо донимал директор фотоателье «Прогресс». – Так и знал, не вспомнил Николая наш Михайлыч! Не вспомнил? Ладно, хрен с тобой! Мы не гордые, напомним! Я тебя спросил,

друг ситный, при всех ли ты регалиях? А ты в ответ по-еврейски – вопросом на вопрос: «кто его знает?» Вот и подумай теперь, любя! Как мне не поинтересоваться, отчего у тебя, родной, такая неуверенность в голосе? И тут выясняется... «Еще в партизанах представили к Красной Звезде, – докладываешь ты без особой уверенности. – Но не успел получить. Ранили. Потом отправили в тыл. И орден затасовали, видать, за какими бумажками». Ну и ну, слушаю все это и мотаю на ус. Как, спрашиваю у себе, старая партийная ищейка, не выветрился ли из тебя политрабочий твой нюх? И – факт! – не выветрился! Я ведь, любя, Николая наш Михайлыч, так подумал: не может быть, чтобы о представленном к ордену человеке забыли насовсем. След его потерять в наградном отделе – это да, могут! Вот я и вывел их в Москве на твой след. Послал в Минобороны запрос по форме. Мне ответ по форме. И... орден тебе – бац! – как гром среди ясного неба. А? Работа, родной! Чистая, комар носа не подточит. Так-то брат, Николая наш Михайлыч, когда «се-ля-ви», жизнь по-нашему, строится подружески, в стороне от подвохов и подлостей. Без друзей, я тебе честно скажу, нельзя. Ни в жизни, ни в смерти, любя! Без друзей не то что орден, куцей медальки не высосешь... рядовую прогрессивку хрен дадут! А ты говоришь – орден...

– Ничего я не говорю! – раздраженно бросил Николай Михайлович. – Это ты, Илья Кузьмич, все говоришь и говоришь. А я пью себе, градусы водичкой заливаю и помалкиваю.

– Вот и помалкивай, любя! Тошно слушать. Лучше скажи,

мил человек, чего ты ее, новенькую свою Звездочку, не пришпандорил на пиджак? Экскурсия по тропам твоим партизанским. Микроавтобус под тебя выбил. Гришука за баранку засадил. И привез – не заблудился. Сюда привез, где ты кровью обливался. Тебе это не событие? Или пиджачка пожадничал на лишнюю дырочку?

Что сказать ему? Что ответить? Звездочка? Дырочка? Не в звездочке дело. Не в пиджаке жизнь... И в праздник она норовит тебя мордой в блевотину. «Се-ля-ви» – такова жизнь, как говорят французы. Но это французы, и слова их имеют особое – французское – значение, совсем не то, какое вкладывает в них Илья Кузьмич. А он вкладывает в них, вкладывает какой-то подтекст, пока еще тайный. Однако нет ничего тайного, что не проясняется после стопаря-другого.

– Выпьем? – Николай Михайлович осторожно разлил по неустойчивым стаканчикам.

Нина прикрыла ладонью пластмассовую посудинку, протянутую Ильей Кузьмичом.

– Хватит ему! Перепьет, а потом грузи его в автобус!

– И ничего не переберу, голуба! – разлился Илья Кузьмич. – Это тебе, Нинусь, с пьяных глаз мерещится. А я совсем трезвенный, как стеклышко, – указал на поллитровку «Столичной». – Э, да там уже на доньшке!..

Открыл объемный портфель из крокодиловой кожи, вынул бутылку, распечатал и угнездил вплотную между консервными банками, чтобы не опрокинулась.

– Наливай!

– Шел бы лучше спать!

– А ты мне, Нинусь, не жена! Да и какой пример для сослуживцев, если я отвалюсь, а? Да будет

вам известно, у меня по «литерболу» пятерка с плюсом. И кем в зачетку поставлена? Не поверите. Им! Самим! Я, доложу вам, братцы-кролики, перепивал не кого-нибудь. Леонида Ильича Брежнева перепивал! Вы его лишь по телевизору примечаете в нетрезвой случайности. А я на брудершафт с ним ходил, когда живыми возвратились с Малой земли в политотдел 18-ой армии. Мы-то, рядовые труженики войны, из политрабочных чинов... мы-то без надежды на маршальские отличия тогда кроушккой умывались...

– Упивались, – эхом подхватил Гришук, костистый дядек в аляповатой безрукавке с намалеванными на ней попугаями.

– Э-э, да ты что-то сказал, Гришук?

– Показалось тебе, Илья Кузьмич.

– Когда кажется – тогда крестятся. Правда моя, Семенчик? Или евреи не крестятся, и, стало быть, мне надо все понимать прямым текстом, как сказано?

– Понимать нам рановато, есть у нас еще дома дела, – Семен Маркович откликнулся популярной «Песенкой фронтового шофера», переврав первое слово. Вместо «помирать» он вывел «понимать» и невзначай добавил двусмысленности и напряженки. Спohватившись, завел прыгучие пальцы со лба на затылок, привычно приглатывая шевелюру, давно уже не густую. Потянулся с нарочитым зевком, ожидая упрека.

– Уже и заскучал? Высказался и теперь язык начальству показываешь? – торопил его с ответом Илья Кузьмич.

Семен Маркович не замешкался.

– Какой язык? Мы не на фрон-

те, чтобы «языка» начальству продемонстрировать.

Гришук тут же вмешался, выводя Семена Марковича из-под удара.

– Хлопцы! Хватит паясничать! Не пора ли нам вспомнить о добавке? А то стало холодать...

– Не пора ли нам поддаться? – подключился к расхожей формуле Илья Кузьмич. – Пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора. К белоголовочке, к ней, нашей кормилице и поительнице. – Повертел перед собой пустой стаканчик. – Не уважаешь, Нинусь? Командуешь – не наливаешь? А я себя, подружка дней чых-то суровых, уважаю, и очень. За этот Михайлычев орден. Шутка ли? В пацанские годы напартизанил здесь на новый том «Войны и мира». Покруче, чем тезка его Николая Ростов. Тот на бумаге да под пером классика мировой литерату-

ры Льва Николаевича Толстого. А наш вживую. Уважаю и приму на грудь за его здоровье. На-ли-вай!

Нина не послушалась, отодвинула бутылку подальше.

– Хорошо, коли так, – буркнул Илья Кузьмич и взялся за солдатскую фляжку. – Нинусь, не изволь гневаться. Я себя все равно уважаю. Наркомовским коньячком. Из этой алюминиевой душечки-голубушки. Э-э... боевой спутницы моей. Мы из ее горлышка когда-то на пару с Леонидом Ильичом лакали. Ему половина и мне половина – как с хлебушком управлялись.

И давай назойливо чокаться с тусклыми на звон стопариками из пластика. И самолюбиво – чмок! чмок! – хлебать из тугоплеской больше положенного. И рот промокать рукавом.

– Перепьешь!

– Мы еще можем!

V

...Как приговор был для тебя металлический щелчок зводимого Полиной затвора.

Как приговор был для тебя отброшенный Сцепщиком окурочок.

Приговоренный к жизни, ты заводишь мертвым.

А ведь было...

Тебя любили. Ты любил. И стихи лились из тебя, словно и не ты их писал, будто они приходили со звезд. И вспоминалось из Маяковского: «Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно». Наверное, думалось тебе тогда, звезды зажигаются, чтобы с них искрами сыпались стихи. И не куда-нибудь в безвоздушное пространство. А прямиком к тебе. Именно к тебе. Потому что... Потому что Полина

просила: «Читай!» И ты читал. В смятении, в радости – читал... И чем чаще читал ей свои стихи, тем, как тебе представлялось, сильнее ее любил. А куда сильнее?

«Читай еще!» – просила она... И ты выкладывался весь. Выкладывался для нее. И в стихах делился сердцем. А не сердцем, так последней из груженных смертью обоймой. А не обоймой, так кровью своей делился.

И доделился!

Выделил! Выгадал! Для нее в этом дележе.

И для себя тоже...

Ей – смерть, тебе – жизнь.

Жизнь и смерть.

Если разобраться, то у этой медали обе стороны – оборотные.

— Чем кричать «ура», не лучше ли, Илья Кузьмич, попросить Михайлыча, пусть прочтет что-нибудь из своей поэзии.

Нина отвоевала у директора фотоателье фронттовую фляжку, глотнула из колпачка, и на резьбу его наматывать — пожестче! — до самого упора.

— А что? — подхватил Илья Кузьмич. — Действительно! Чего тебе, любя, не зачесть нам что-нибудь из партизанских виршей? Не Пушкиным ведь единым...

— Да не до стихов мне сейчас, — отмахнулся Николай Михайлович.

— Климат не подходит? — подковырнул подчиненного друга-приятеля Илья Кузьмич. — Правда твоя, здесь мы иерусалимское солнышко не держим на привязи. Да и жизнь у нас — «се-ля-ви» — течет по Московскому времени.

Нина занервничала.

— Эй, Кузьмич, кончай с географией! У него настроение... А ты?

*«А росы были вышиты рассветом,
Быть может, тем, что выпьет нашу кровь.
Всплывало солнце из ночного бреда,
И бредил ты: Любви не прекословь!»*

— Не-е-т! — Николай Михайлович зажал Нине рот и, совестясь, продрался от распаренного «нет!» к жалобному: — Не надо... Не сейчас... Не здесь... Маятно...

— Нинусь! — поддержал его Илья Кузьмич. — Не елозь по душе человека. Не надо, так не надо — слушали и постановили! О стихах поговорим потом. На месткоме... — произнес нарочито грубо. — Не повредит товарищу, коли объяснится, почему не пишет в нашу стенную газету. Вот приближается празд-

Придвинулась к Николаю Михайловичу, обняла его за плечи, демонстративно обняла: на, смотрите, кобелиные черти! Завидуйте! Вы руки распускаете, а фигу вам в нос с ваши куриные яйца. А он... он... Он — мой! И все тут! Не отнимете!

Нина поцеловала Николая Михайловича в щеку и...

— Прочти им, Михайлыч. Прочти, как мне, — тихо попросила, мягко — аж плакать хочется. — Что тебе стоит? Прочти... Твое... любимое...

— Не-е! — дрогнул Николай Михайлович подбородком.

— Прочти-прочти... Пусть знают, с кем знают...

— Не-е!

— Твое... Любимое... «А росы были вышиты рассветом».

— Не-е!

— Тогда я... Им! За тебя... Чтобы знали...

И Нина повела на выдохе:

ник, 1 июня — День защиты детей. А дети — да будет вам известно! — цветы нашей жизни. Без них никак нельзя. И без стихов о них тоже. А он... — иронический жест, скопированный у Филиппова из кинофильма «Шофер поневоле» под обличающий. — Мало того, что своих не завел, он и о чужих шевелить мозгу не желает. Вот-ка разберем голубу на месткоме, пусть затем Нинусь и собирает... ха!.. винтики и гаечки для детского конструктора... сынишке своему на удовольствие.

Нина вспылила:

– Ты сыночка моего не трожь! А Михайлыча!.. Своих-то ты!.. Рассадил свои цветы жизни вниз головками. По чужим клумбам и задворкам. Вот они и растут, как сорняки.

– Ты мне, Нинусь! Ну-сь отсюда!

– Я! Я! Знаю, что говорю! За блядки тебя и поперли с партийных верхов – сюда, к нам, к народу поближе!

– Нусь-нусь, поговорила и лады. Будем считать, про тебя это Есенин писал – поговорила роща золотая.

– Отговорила!

– Поговорила-отговорила, не велика разница... Главное, что выходила на берег Нинуся, когда сокол ейный под забор.

– Не пой с чужого голоса, «люба», – не остывала Нина. – С Толиком я развелась еще до того, как у нас с Михайлычем завязалось... Мораль мне читать нечего, сама грамотная. А в отношении детей? Больное у него – дети! Не будет тебе Михайлыч писать про детей. И ты не требуй. Уже не в Министерстве культуры мозоль на заднице наживаешь. Да и вообще он не пишет стихов... Давно уже...

– Кто не пишет и не пьет – тот здоровеньким умрет.

– Уймись ты, народный сказитель!

– Все-все-все... – Илья Кузьмич поднял руки, будто сдается на милость победителей. – Безоговорочная капитуляция!

Гришук, аплодируя, с ехидцей заметил:

– Предлагаю обществу это дело отметить.

– Предложение принято и подписано, – поспешно согласился

Илья Кузьмич. – У меня как раз на этот, победный для вас, случай припасена бутылочка «особой». Ей-бо! Из «валютника», с американским привкусом! Николая наш Михайлыч, подставь емкость. С тебя и начнем дегустацию.

Нина вскинулась опять:

– Не нужна ему и «особая»!

– Ну, конечно. Ты ему любую водку готова заменить. Тридцать шесть градусов тела плюс четыре в райских угодьях.

– Не суйся в личное!

– Куда мне, политрабочей лощадке? И против кого? Против бравого партизана и непризнанного писателя? Непризнанный! А? Звучит? Ласкает женское ушко? Женщины, как доказали ученые, именно через ушко соблазняются.

– То-то ты мне сулил небо в алмазах.

– Нинусь, отнюдь не небо в алмазах, а повышение зарплаты. Будь попроще.

– Быть попроще – могут только мощи.

– Тогда практичнее будь, стихами не кормятся. А Николая наш Михайлыч хоть и писатель, но – кхе-кхе! – пока безгонорарный.

– Для вас... для таких, как ты, Кузьмич, он... Если непризнанный, то – никакой! Постыдились бы...

– Почему же? Я за ним писательские достоинства признаю. Но кто читал его нетленку?

– Не издают, вот никто и не читал! – вспылила Нина.

– Посему и резолюцию накладываем: романист-затейник.

– Не затейник он! Украли бы ваш роман...

– А не пиши – не украдут.

– Язык без костей! И кто его тебе такой привесил?

– Ах, тебе, Нинусь, с косточкой даже язык подавай? С мозговой не

желаешь – для повышения интеллекта?

– Повышай собственный! А то он у тебя совсем упал.

– Грубим, значица, невзирая на лица? Что ж, тогда заруби на носу, голуба: не украли, а изъяли. И не на улице где-то, где одинокая бродит гармонь. А прямо в его квартире. С попутным обыском.

– А права человека?

– Какие права? Это еще при культе было.

– Но культ разоблачили! Людей на волю выпустили! – не унималась Нина.

– Глядишь, реабилитируют и роман.

– Что за дикость? Реабilitируют? Кузьмич, приди в себя – опомнись: роман и есть роман. Строчки, строчки, строчки...

– А между строчек?

– Не дури нам мозги! Лучше вспомни из детства: «Таракан, Таракан, Тараканище! Он рычит, и кричит, и усами шевелит». Все мы думали: это о Сталине. А никакого намека и не было. Чуковский написал своего «Таракана» задолго до культа.

– Вот и наш партизанский герой чего такого написал. И тоже задолго «до»... Но – что? Не ему же будут докладывать.

– А если бы разузнать? Кишка тонка? – поспешила Нина с вопросом.

– Они не докладывают. Они указания спускают сверху. На днях, например, дали мне понять, что не худо нашему боевому товарищу вновь взяться за перо. И черкануть по-рабкоровски, как награда нашла героя. А ведь представил его к Звездочке не я, Нинусь, не Семенчик с Гришуком-собутыльником. А представил его к Звездочке... оказывается... Сам Мазур-

ков! Встаньте, товарищи, и руки по швам!.. Да, тот самый... Тот, из нынешних Кремлевских небожителей, что на экране телевизора рисуется рядом с Брежневым.

– Ну тебя, Кузьмич! Завел шарманку. Не будет он тебе ничего писать.

– А кто будет, Нинусь? Я?

– Уймись, говорю, уймись! Надоело! Мне уже помыться с мылом хочется. Я на речку. Кто со мной? – спросила Нина, вытягивая из походной сумки махровое полотенце.

Но никто будто и не расслышал ее.

– Разбирайтесь сами! Кому из вас писать, а кому писать – ударения по смыслу поставить самостоятельно! – сказала она на прощанье.

Но никто будто и не заметил ее исчезновения, смотрели на Илью Кузьмича.

– Итак? – обратился он напрямую к Николаю Михайловичу, который маленькими глотками попивал из бутылки сладкий лимонад и облизывал пересохшие губы. – Почему бы тебе, непризнанный сын Толстого, не написать в газету? Сначала заметку, потом очеркишко, а там, глядишь, и роман попросят. Мне и человека выделили, на чье имя слать рукопись. Примет, пристроит, напечатает. Тебе и слава и гонорар. Мазуркову почет. А нам повод! Обмоем такое дело! А, Гришук? А, Семенчик? Да не тереби кудри, осыпались как с белых яблонь дым!

Николай Михайлович вздохнул: выручай теперь друзей-приятелей – наговорят на взрыве эмоций... А боязно-то! «Чувства наши прекраснее слов...» Им, чувствам нашим, развернуться бы! Но слова... слова... От слов не отмоешься.

Вынул из бокового кармана пиджака блестящую от свежего лака Красную Звезду, подкинул на ладони, как остывшие автоматные гильзы тогда, тридцать лет назад, на старой мельнице. Под столь же яркими, подобно этой, звездами. Но живыми! Дымящимися! Дымящимися не свежестью лака, а недо-стижимостью рассвета.

– Я, Илья Кузьмич, дневников не вел. Не разрешено было, сам знаешь. Что я Мазуркову? Впрочем... Ладно не будем. Воспоминание воспоминанию – рознь. То, что «помнит» он, это вовсе не то, что помню я. А вспоминать то, что «помнит» он, это вспоминать по подсказке.

– Я тебе, что ли, подсказывать буду? – удивился Илья Кузьмич.

– Какого черта – ты? Твой неназванный человек из газеты. Он мне рукопись выправит и подскажет, что дописать, что исправить.

– А там и роман вернет. Чтобы по написанному легче вспоминалось.

– Роман? – вздрогнул Николай Михайлович. – Он сейчас у него, у этого редактора с голубыми околышами?

– Пути романа неисповедимы. Пиши, что сказано, вот и вешки к нему проложишь. А что писать и как – из головы или по подсказке, в этом я не Копенгаген. Здесь твоя епархия.

– Не епархия, Илья Кузьмич. А совесть. А если о совести, то писать сегодня о войне – это зачастую писать неправду, да и в прошлом писали неправду. О той войне всегда у нас писали неправду. Тебе это известно получше меня – в Министерстве культуры работал! А правда, сам говоришь, кусается, когда она в печатном виде. Потому и не пишу...

– Смотри в телевизор!

– Это и делаю. Смотрю в телевизор и вижу: ох и приохотились наши Кремлевские небожители к новым боевым отличиям за былую войну с фашистами. Лампасы им подавай, звезды на грудь и погоны. Тридцатилетие Победы, вот и награды находят героев.

– Тебя – нашла!

– С твоей подачи?

– С моей...

– А награда Мазуркова?

– Не понял...

– Награда Мазуркова, по мысли вашего начальства, должна найтись с моей газетной подачи. Мне – гонорар, ему – Звезда Героя. А ведь наш отряд был полностью уничтожен сразу же после отлета Мазуркова на Большую землю. Поговаривали... Да, что там!.. Считайте, что я пьяный... Поговаривали, это уже после войны, и не скажу – где... не скажу – кто... Поговаривали, что немцев известили – через резидентуру Мазуркова! – о месторасположении отряда.

– Сплетня! Или, хуже того, провокация!

– Говорю тебе, Илья Кузьмич, не с пустых слов: в чьих-то высоких лбах зрела гениальная мысль о том, как укрепить доверие фашистов к нашему агенту. Доверие к нему укрепили... А в живых – никого. Лес рубят – щепки летят. Подумаешь, сотней людей меньше! Мамки новых нарожают.

– Ты же остался в живых. Или врут мои глаза?

– Меня вывезли до разгрома. Я был ранен. Мазурков и взял меня с собой на Большую Землю.

– Вот тебе и тема! – хлопнул себя по ляжкам Илья Кузьмич. – Значица, ты ему обязан своей жизнью! Все по-честному!

– Если по-честному... Лучше бы меня этот орден не находил.

Ты сидел у костра – ссутуленный, мрачный, будто обугленный. Твой, казалось бы, недостижимый рассвет уже вечность назад был сожжен солнцем, и теперь его хоронила ночь.

Помнишь?

Подошел к тебе Мазурков, присланный в отряд, как втихоря поговаривали, для выполнения какой-то сверхсекретной операции. В чем конкретно заключались его полномочия, толком никто не ведал, но ясно было: он никому не подчиняется, включая командира, хотя и считался его заместителем по политической части.

Помнишь?

Мазурков сказал:

– Не горюй... Война...

Но что слово – против чувств? «Чувства наши прекраснее слов. В них седому рассудку не место».

Затем Мазурков добавил:

– За доставленные сведения спасибо. Мы тебя за них представили к ордену. К Звездочке. Не принято – это я, парень, понимаю – говорить такое до времени. Но в нашем случае необходимо. Слишком часто бывает поздно. Им, – он посмотрел в сторону, словно в теневой штриховке деревьев дано разглядеть заброшенную мельницу, Полину и Сцепщика. – Им поздно сообщать о наградах. Но ты знай, и они представлены к ордену. Посмертно.

Тебя как-то занозило это странное словосочетание – «в нашем случае», но тогда ты ему не придал значения. Сейчас? Но и сейчас оно ничего не дает уму, только будоражит сердце и тревожит память.

Помнишь?

Станным тебе показался в ту

ночь Мазурков. С тобой, с пацаном восемнадцати лет, он искал какого-то, чуть ли не душевного, контакта. Зачем? С какой стати? Чем ты был полезен ему? Может быть, все способно проясниться, если доподлинно вспомнить весь разговор?

Вспомнить? А удастся ли ныне?

Помнится, Мазурков говорил:

– Парень, не мучайся. Если бы ты был хоть на йоту виноват в их... – он осекся, подыскивая нужные слова, близкие к испытываемому тобой чувству, – виноват в их участии, то не о наградах, естественно, шла бы речь. А о трибунале! Пойми это! И еще... пойми... Им при любых обстоятельствах – прикрывать, тебе – отходить. Почему? Растолкую. Они просто бойцы, одни из многих. «Живая сила», как говорится. А ты по-своему незаметим для нас. В нашем случае... – Опять «в нашем случае»? Это уже неспроста! – В нашем случае – ты наше будущее. Правильнее сказать, в будущем – ты наша вторая жизнь, наша летопись, наша боевая история. Кому, как не тебе, рассказать нашим детям о том, как воевали их отцы? Подумай и учти. Ты – живое слово, разящее врага сегодня под дых в наших листовках. Ты – живое слово, вплавленное в партизанскую подруженьку-песню! А завтра? Завтра – ты наша живая книга, наши исторические хроники.

Вот загнул: «наша живая книга, наши исторические хроники». Одним махом определил в Пимены – летописцы. И с каким пафосом! Будто и впрямь уверен, что его надгробная речь – «вдохновит»,

«увлечет» «подвигнет на какие-то мифические литературные подвиги». Интересно, какими рисовались ему, полковнику Мазуркову, осуществляющему контроль за выполнением секретного задания, эти «литературные подвиги»?

– Твое слово, – говорил Мазурков, забывшись, что находится не на трибуне съезда молодых писателей, а в лесной глуши, у догорающего костра. – Твое слово, юный мой друг, должно пережить всех нас. И оно, будь уверен, переживет! И вместо боевых друзей твоих – Полины, Сцепщика и других – войдет в послепобедные годы, в эти детьми нашими вымытые лета. Войдет и поведает новому поколению – младому, незнакомому – святую правду нашей жизни и смерти. Я знаю, юный мой друг: писатель перевоплощается в созданных им героев. Так что не тужи! Помни и понимай, пока ты жив, не умерла и Полина, не умер Сцепщик, не умерли все мы. Помни и понимай, ты осужден на жизнь. А заодно с тобой и мы. И в той, нашей будущей, правильное сказать, второй или книжной жизни мы будем всем обязаны тебе. Помни и понимай. И, главное, не забудь, от тебя зависит, чтобы в той, своей второй жизни, и Полина, и Сцепщик, и все мы стали не просто какими-то игрушками в руках войны, а настоящими, сильными и мужественными людьми, служащими примером для подражания. Не дай себя съесть то-

ске! Не сникай, не опускайся на колени перед чувством утраты. Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях! Волю в кулак, и запомни: твой долг писать! Писать, и никаких гвоздей, вот лозунг твой и солнца. Пиши! Будущее смотрит тебе в лицо!

Будущее, самое близкое будущее, а не то послепобедное, начертанное ораторским раздольем записного политинформатора, смотрело тебе в лицо из ствола «шмайсера».

Вскоре, на очередной вылазке, ты был ранен и с оказией – самолет прислали за Мазурковым – отправлен на Большую землю.

А затем, уже в госпитале узнал: твой отряд был внезапно атакован и практически уничтожен. Из партизан, как выяснилось, уцелели всего трое. Именно те «счастливики», кого незадолго до нападения гитлеровцев эвакуировали по воздуху в тыл. Ты, комиссар Мазурков и комвзвода разведки – «самострельщик» Гордин: чистая незнакомое оружие, трофейный «вальтер», случайно пальнул в себя.

Потом – из госпиталя на фронт. И с боями через выбитые деревни, через крошево городов, через людскую боль и кровь.

«Война все спишет!»

Но не списала война памяти. Не списала сердца. И чувства первой любви не списала война.

Тебя списала – это да, если не кривить душой...

VIII

Илья Кузьмич сочно хрум-кал бутербродом с колбасой. И сыпля крошками на газет-

ную подстилку, пьяно допытывался у сослуживцев:

– А вы? Вы?

– Что мы? – наконец отреагировал Семен Маркович, догадываясь по чью душу мечет вопросительные знаки директор фотоателье.

– Понимаю, у Николи нашего Михайлыча – настроение, молчит себе, пусть и молчит. А у Гришука? А у тебя? Обстановка обязывает: бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Скажи, душа, любезный друг, где ты рубился?

– Брось, Илья Кузьмич, – невнятно прошелестел Семен Маркович. Он огрызал ноготь большого пальца, изредка оценивая взглядом работу своих цепких зубов. – Каждый раз одно и то же! Ты же в курсе. Я по молодости лет не рубился. Я «отсиживался» в гетто.

Илья Кузьмич с притворной укоризной помахал указательным пальцем.

– Оттого и завел пакостную привычку с голодухи – забивать консервами жилую площадь... на черный день. Ладно, ладно, не ершись. Шучу. Разве не видно?

– Над тобой бы, над твоими «социальными накоплениями», Илья Кузьмич, пошутить так разок.

– Ох ты, матушки! – Илья Кузьмич стукнул себя кулаком в грудь. – Я-то, значица, не голодовал? Голодовал! Когда в следственном аппарате... когда этих разыскивали, кто от нас по лесам прятался... недобитков... наймитов вражеских разведок... Я... я... Был момент – отощал, как божий одуванчик. Дунь – и где душа, где тело? С миноискателем не отыщешь! Война! Это для тебя она, Семенчик, кончилась с освобождением, под салюты. А для меня? Считаю, до самого пятьдесят шестого рубился, пока...

Тут Гришук и перебил его:

– Пока тебя самого не «освободили».

– Много ты понимаешь, голуба. «Освободили». В душу плюнули да растерли. Дорогая моя столица, золотая моя Москва! Перышки свои там птички кремлевские чистили. Отмазывались от посадок братьев по классу. Ну и избавлялись от ненужных свидетелей. А называлось это для меня – нет, не понижением по службе, переводом на другую работу. Вот и кинули – сначала в первый отдел Министерства культуры, а потом к вам в фотоателье, так сказать, «на укрепленье». А вас не «укреплять», вас...

– Давить надо? – любопытствовал Семен Маркович с притворным удивлением.

– Ну, ты и скажешь, родной! – досадливо сплюнул Илья Кузьмич и облизал пальцы, замасленные бутербродом. – Кто, как не я, Семенчик, отстоял тебя, когда дочка твоя с муженьком ейным намылилась туда, на чужбину?

– Летят перелетные птицы, – невразумительно пропел Гришук, чтобы скрасить обстановку.

Но не добился своего. Илья Кузьмич не отлипал от Семена Марковича.

– Кто? – допытывался он. – Кто отстоял тебя, гвардеец пятилетки?

– Ты, Илья Кузьмич! Ты! Мне теперь до скончания лет сквозь дремучие анкеты не протиснуться.

– Находился ли на оккупированной территории? – подхватил, как подсказку, Гришук.

– Да.

– Есть ли родственники за границей?

– Да. Теперь есть. В Израиле. Так надакаешься, что до могилы не разучишься поддакивать.

– А тебе – что? – разозлился директор фотоателье. – Собственное мнение подавай?

– Да! – в запальчивости Семен Маркович уловил подковырку с опозданием. И затих в растерянности, обдуваемый хриплым смехом, основательно крепленным алкогольными градусами.

Грызи опять ногти и внимай наставительному:

– Вот-ка, голуба, как оно на поверку, когда летят перелетные птицы ушедшего лета искать. Дай тебе самостоятельность, дай тебе собственное мнение, все равно норовишь по указке «поддакивать».

– Виноват – исправлюсь! – буркнул Семен Маркович.

– И не виноват, и не исправился! – вновь развеселился Илья Кузьмич. – На нашей земле по-иному не получается. Так наша земля устроена. А не будешь поддакивать, наша земля расступится и проглотит тебя.

– Во имя грядущего рекордного урожая, – сдохмил Гришук.

– Так точно, товарищ военный фотокорреспондент! – вполне серьезно подтвердил Илья Кузьмич: – Кто не с нами – тот против нас. А кто против нас – тому прямая дорога на удобрение. Органические, коли на научном уровне вести политбеседу.

– Вот и снимаем урожай вместе с головой, – ерничал Гришук, нервно постукивая горлышком водочной бутылки по краю пластмассового стаканчика.

– А что прикажешь делать, сокол мой ясный?

– Да ничего я не приказываю. Не по рангу мне. Я просто песенки к месту пою. Исаковский сочиняет. А я подначиваю.

– Что еще за концерт по заявкам трудящихся?

– А вот послушай. «Летят перелетные птицы».

– Слышали уже.

– А ты еще раз послушай, когда не по радио. «Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна».

– Все правильно, по тексту. В чем же подвох, Гришук?

– Под ногами. В земле. Чужая нам не нужна. А своя тотчас расступится, как отучишься поддакивать. Где же нам жить? После жизни, понятно, на небе. А при жизни? Илья Кузьмич, просвети нас, грешных.

– Чем тебе посветить? Фонарем под глазом? Без фонаря не поймешь, да? Не придуривайся, Гришук! Пойми, душа, любезный друг, привычка – вторая натура! Еще не было такого, чтобы на Руси разучились поддакивать. «Если партия прикажет – комсомол ответит: есть!»

– Я уже вышел из дебильного возраста.

– А я в дебильном никогда и не пребывал. Свои университеты я кончал без шпаргалок. Тут они, мои университеты! – увесисто хлопнул себя по груди. – На моей дубленой шкуре! Примечаешь? Шкура-то моя не на барабан гожа. А на самую действенную – не оставшую! – генеральскую папаху. Вот и носит ее ставленичек один мой разлюбезный. А я? Я!

– Шкура, она и под микроскопом шкура. Но ведь не шкурой единой... – невзначай заметил Гришук и усмехнулся чему-то своему, потаенному. Потаенному, но не настолько, чтобы не задеть Илью Кузьмича, хорошо осведомленного о его боевой биографии.

– А ты без хаханек, товарищ военный фотокорреспондент Вайнштейн!

Фамилия известного по роману «Живые и мертвые» военного фотокора намерено была брошена на газетные листы к бутылкам водки и консервным банкам, ибо история шумного Мишки с неразлучной «лейкой» списывалась некогда в какой-то степени и с Гришука.

Константина Симонов:

«...И он, собрав последние силы, заползает в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку...

А потом, повинувшись последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди посылали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыплют землю рядом с истекающим кровью, умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков».

...Гришука подобрали окруженцы и выволокли его, не приходящего в сознание, по ту сторону немецких «клещей». А на той стороне, нашей, ему просто-напросто не поверили. Не поверили, что он, «истекая кровью, будет засвечивать пленку». И это – вместо спасения жизни, вместо срочной перевязки и накладки жгута. Не поверили и постановили: считать пленку, заснятую в расположении стойко обороняющегося полка, захваченной врагом.

И Гришука из фронтовой газеты – в штрафбат.

Никакого значения не имели его оправдания: «На кадрах только немецкие подбитые танки да пор-

треты отличившихся наших бойцов! Что я – дурак, чтобы давать панораму наших рубежей?»

Важны были не его оправдания. Необходимо было найти – и без проволочек! – «козла отпущения» местного значения, иначе головы летели бы по всему периметру театра военных действий, от Белоруссии до Москвы. А кто ищет – тот обязательно найдет. Вот и нашли безответного репортера, не углядевшего за пленкой – той, что, по всей вероятности, попала в руки к немцам и раскрыла их танковой лавине расположение траншей и окопов, обороняемых трехлинейной винтовкой с примкнутым штыком. Нашли репортера, сунули в топку штрафбата – «наш паровоз, вперед лети!» – и поехали дальше. Почти весь Гришук и выгорел. Ни тебе – «толстый, веселый, шумный», как у Симонова. Ни тебе – «круглого, как сковородка, лица». Ни тебе – «любимого словца: «подскочил». Впрочем, в последующей мясорубке боев от всей журналистской расторопности не осталось и следа. Разве что в личном деле. Но там был такой осязаемый след, что тавром – «нельзя!» – жестко впечатывался в сердце любого кадровика, комплектуемого редакционные штаты.

«Нельзя!» И хоть бейся головой об стену.

А раз в газету «нельзя!», то просись в ателье, к допотопной камере. И выгоняй, согласно сообразительностям, план на паспортных карточках, свадебных фотографиях и прочих семейных идилиях. Отсюда уже никуда «не подскочишь». Ни одного из мгновений истории не выловишь. Работа – смерть мухам!

— Илья Кузьмич, я без «хахханек»! — Гришук вышел из задумчивости, в которую втолкнуло упоминание о герое Симонова — фронтовом фотокорреспонденте Вайнштейне. Опустил в совок ладоней горящую спичку, закурил сигарету. — Брось! Здесь тебе не внебрачные связи: «люба-голуба». Бойцы вспоминают минувшие дни. Согласен, вспоминают. Вспоминают, но не зубоскалят, не хохмят. А что до битв, товарищ наш в отставке Илья Кузьмич, то мы твой заградительный огонь своими ребрами прощупали! Нам, бойцам расстрелянной за отход штрафной роты, есть что вспомнить. И мы, придет срок, вспомним.

С какой-то безысходной грустью, как человек, вынужденно восставший против самого дорогого, Гришук сипящим голосом вывел: — От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна победа, одна на всех. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Песня из кинофильма «Белорусский вокзал», захватившего экраны в марте 1971 года, как ее ни исполняй — в один голос, хором, в сопровождении ансамбля — несла в себе нечто такое, что соизмеримо лишь с фронтовой совестью староро солдата.

— Поешь? — Илья Кузьмич попробовал с помощью прирученной иронии вывести Гришука из его душевной настроенности.

Но не получилось.

— Эх ты, политрабочая лошадка! Оборотись лицом к тому времени. Геббельс, этот свихнутый

карлик, без придури и придумок утверждал: «Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили, как в правду!» А у нас? Разве наша правда не была настолько же чудовищна, как фашистская ложь? Разве наш карлик другим пальцем был деланный? Скроили его из высоких каблуков и английского френча. Собственными жилами из собственной шкуры. Чтобы он эти жилы на наш хребет наматывал. Чтобы нашу шкуру — твою! мою! его! — в кроваво-соляных растворах дубил. Чтобы на своем мыловаренном производстве наконец перевел все запасы человеческого мяса. И ради чего? Ради того, чтобы обдурить своего побрательника по довоенным годам Гитлера. Он ведь куда намыливался, наш товарищ Сталин? Их обдурить, немцев! Но не успел. А иначе...

— Иначе, Гришук, не они нам, а мы им свой «блицкриг» учинили бы, со знаком качества — «Сделано в СССР».

— Илья Кузьмич, мы и без «бойцов незримого фронта» догадываемся, что к чему. Помнишь, как нам компостировали мозги «Сталинскими ударами»? Помнишь? «Сталинские удары! Сталинские удары! Благодаря Сталинским ударам мы выиграла войну!» Думаешь, удары эти были «сочинены» для энциклопедии после победы? Ошибаешься! Они на штабных картах наших стратегов проклянулись еще в августе 1939-го, когда подписывался договор о ненападении с фашистской Германией.

— Ты имеешь в виду пакт Молотов-Риббентроп?

— Я имею в виду, Илья Кузьмич, что все вышло не по песне. И

от Москвы до Британских морей Красная армия хренушки оказалась сильнее истинных своих врагов, и вся сила «Сталинских ударов» пришлось по нашей нержавеющей головушке. Меня – в штрафбат, Семенчика в гетто, о «врагах народа» и говорить не приходится, а Михайлыча... Понимаю, у Михайлыча – «настроение»...

– Орден у Михайлыча! Орден! Не приписывай ты ему «настроение».

– Я не приписываю. Оно у него на физиономии написано. А орден? Что – орден? Вглядишься в этот орден! В сердцевине его, на платиновой подушечке, как на лагерном снегу, стоит-возвеличивает себя мордашка в добротном тулупчике, со смершевской винтовкой наперевес. «Шаг в сторону считается за побег. Расстрел на месте!»

– А что тебя – хлебом с солью встречать?

– Логика железная! Сунешься в отход – смертью приветят твое отступление. У нас, политрабочая ты скотинка, заранее подготовленных позиций не было.

– А у меня были? Были? – завелся Илья Кузьмич. – И я, как под Богом, ходил Там, под Ним. Это сегодня он – «дорогой Леонид Ильич...» А тогда? Тогда – «товарищ полковник, докладываю...»

– А лобызаться – на брудершафт?

– Это после выполнения задания, коли живой и целый явился. А так... Говорю же, как под Богом, под Ним...

– У нас сведения на твой счет иные. Не «под Богом», а «за пазухой у Бога».

– Врешь, Гришук! И все сведения твои от диссидентов или из доморощенных сплетен! У нас,

политрабочей лошадки, как? Чуть не в жилу, чуть не по масти пришелся, и каюк! Кинут тебя с наганом – выводи батальон из окружения. И выводил.

– На распыл смершевцам.

– Не валяй дурака!

– А не было ли разве на выходе? «Кто хотел остаться на вражеской территории?»

– Хватит паясничать! – уже кричал, чуть ли не матерясь Илья Кузьмич. – Не подстраивайся под модные веянья. Все хаять и хаять! Дохаимся!

– Хаимами заделаемся? – прыснул Семен Маркович.

– Тебе поздно об этом мозгу запрягать, тебя таким папка сделал, – огрызнулся Илья Кузьмич.

– Виноват, не доглядел за папкой.

Гришук, чтобы сгладить обстановку, пошутил:

– При следующем рождении Семенчик наш внимательнее будет.

– От него это не зависит, – не принял шутки Илья Кузьмич. – Но и от меня не зависело. Куда пошлют, туда и ходи, пока ноги носят.

– Шаг – вправо, шаг – влево считается за побег?

– Какой побег, Гришук? Лишний шаг – и угодишь под трибунал!

– Откуда Колыму видно?

– Видно, видно, и не с пьяных глаз, дорогой.

– Понимаю. Как же не понимать, Илья Кузьмич? Спас! Грешную душу мою, под хмельком разболтанную, вытащил из пекла! Ценю! Помню! Меня спас. Семенчика от увольнения отстоял. Михайлычу орден выхлопотал. Золотое сердце у тебя, политрабочая ты скотинка.

– А-а! – довольствие выплавлялось улыбкой из прежнего, углями пышущего гнева.

– Но сердце твое слишком законченному человеку досталось.

– Что ты имеешь в виду, Гришук?

– А то, что пригрел ты не каких-нибудь, а очень удобных для себя людишек. Все по отдельности – порченные, а целиком... Что-то есть в нас полезное для тебя. Но что? Не разумею пока...

– Ты того? – директор фотоателье винтанул пальцем у виска.

– Я не того... Я образованный твоими университетами.

Вымороженным, едва слышимым перестуком отметилась бутылка «Столичной», полня пластмассовый стопарь. Гришук хлебнул, помассировал кадык, наблюдая, как Илья Кузьмич, тянет к нему свой стаканчик. Плеснул ему, выслушал: «Не напейся!» Ответил: «Не напыюсь!» Выждал, пока начальник втянет в себя водку, и сказал, что зрело уже давно в нем:

– Илья Кузьмич, сознайся. Ты специально подобрал себе контингент, чтобы в нужный момент своевременно выявиться со своими «вредителями». У каждого твоего, любя, подопечного рыльце в пуху. Но одного я никак не допетрю: за чем тебе Михайлыч? Какая с него польза, когда опять по ступенькам вверх?

Он торкнул Николая Михайловича, будто бы отстраненного, ушедшего в глухое забытие. И расшевелив, налил ему до краев.

– Подними, – сказал, – за себя можно.

Николай Михайлович, не разливая, поднес пластмассовую посудинку к губам, старательно выпил. Бычков в томатном соусе,

добытых Ильей Кузьмичом по благу, не коснулся.

– Гришук! И у меня рыльце...

– Чего же молчал? Поделись пушком!

– За мной с тех «добрых» пор ходит, что от всего отряда осталось нас трое. Я, Гордин и Мазурков.

– Тот?

– Именно. Сегодня он сподвижник Брежнева. А вчера...

– Стоп-стоп, Михайлыч! Вчера наша политрабочая лошадка ходила под Брежневым без седла и угодливо виляла хвостом. А сегодня? Сегодня Мазурков выхлопотал стойло в Авгиевых конюшнях Кремля. Смотри, что рисуется, а? Драматургический конфликт – Шекспир, умри от зависти!

– Свято место пусто не бывает...

– Ишь ты! – Гришук с демонстративным восхищением протянул Илье Кузьмичу его фронттовую фляжку. – Пора, мой друг, пора и «ерша» заморить.

– Сам не ершись, и меня «ершом» не пугай, балаболка! – Илья Кузьмич сердито отмахнулся флягой и поспешно кинул ее ко рту, заметив, как она нерасчетливо выиграла маслянистой жидкостью.

– Молчу-молчу. Куда мне иголочки свои распускать, когда ты клыки востришь, почитай, на самого Мазуркова? Не та ли это папаха, товарищ Рогов, что сшита из твоей дубленой шкуры?

– Молчал бы, голуба! Напился, так зубы стисни, и – молчок!

– Чтобы на двадцать-десятом съезде мною бы гордились, как Лазо, да?

– Ему больше ни капли! – приказал Илья Кузьмич.

– Во-во! Уже за наказания взялся. Как это у нас? В одной глотке

вопл: «Каленой метлой выметем всех отщепенцев!» А в другой – песня: «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк», – засмеялся Гришук.

– Пой, ласточка, пой! – отмахнулся Илья Кузьмич.

– А что? И спою!

И спел:

– Золотыми буквами мы пишем всесоюзный Сталинский закон!

– Откуда знаешь? – удивился Илья Кузьмич. – Ведь эти слова Хрущев из песни выкинул.

– Из Госфильмофонда. Из архива.

– Ладно. Картина Александрова «Цирк». Тридцать шестой год. Сталинская конституция. Не будем бередить раны...

– Тогда давай возвращаться на круги своя. И будь ласка, Илья Кузьмич, доложи честной компании, зачем тебе Михайлыч? С Мазурковым, разумею, ты пока не сладишь. Оставил его на «потом»? Вот и держишь Михайлыча на запасном пути. А потом? Потом, когда убедишься, что и потом – «суп с котом» и с Мазурковым не справиться? Что тогда? В расход Михайлыча, как и всех нас? Правильно я понимаю твою генеральную линию, «люба»?

– Помогай после этого вам!

– Добавь еще: «сколько волка ни корми, он все в лес смотрит».

– Дурак!

Илья Кузьмич зло чиркнул спичкой о коробок, закурил «беломорину».

Гришук откликнулся на «дурака» не столь хлестко, скорей рассудительно:

– В твоих университетах, разлюбезный профессор от науки политпросвещения, нам и не такими словами компостировали «звездные билеты».

– Дочитаешься!

– Фотокору – ясец! – читать не положено. Вчера – Бабеля. Сегодня – Аксенова. Фотокор всегда глупее вашей политрабочей гвардии выглядеть «должон». Мы и не читаем. Мы помаленьку соображаем...

– На троих! – поддел Илья Кузьмич.

– В точку! – разохотился Гришук. – На меня, штрафбатом умытого. На Семенчика – дочкой, махнувшей от отца в Израиль. Третьим будет Михайлыч... Но с ним все же никак не разберусь. Слышь, Михайлыч, – повернулся лицом к бывшему партизану. – А не было, чтобы тебя щупали за гланды? Все же трое вас осталось от всего отряда... Как тут могло обойтись без предательства?

– Было... Он и щупал... Он и арестовал мою рукопись... Тогда и познакомились...

– Ага! Тогда и познакомились? – Гришук перевел искрящиеся усмешкой глаза на Илью Кузьмича. – А не познакомились ли вы тогда, профессор, и с другими подозреваемыми? С Гординым? С товарищем Мазурковым?

– Гордин к тому времени уже погиб! – уточнил Николай Михайлович. – Это... когда он попал в штрафбат, где «малой кровью» отмывался за случайный самострел. Спыхватились-то на расследование попозже падения Берлина, перед «космополитами», в сорок восьмом, когда Михозлса убили.

– Подсказка принята! Следовательно, всего два подозреваемых. Здрасте, приехали, Илья Кузьмич! Представляю тебя за следовательским столом. И Мазуркова представляю. Напротив. В роли временно подследственного.

Вот оно, где ниточка, связующая вас, протянута. Между чернильницей и пером. Договорились за столом, любя? Договорились! Догадываюсь. Ценю твой подход к ставленничку-креслу. Но не оценила «папаху»? Или? Или же – постой! – и тебя держит в запасе, как ты Михайлыча? А в нужный момент... Точно! В нужный момент тебя – либо на золотой унитаз посадят, либо головой вниз опустят в нужник. Все зависит от того, как повернется диалектический материализм. Или неправда моя?

– Твоя и не ночевала рядом с правдой.

– Постой! Постой, Илья Кузьмич! Не забивай мне баки! Что же у нас вытанцовывается? Если Мазурков не пострадал под твоим следовательским пером, и Михайлыч тоже, значит, пострадал кто-то третий. Кто? Ведь быть такого не может, чтобы ты не обнаружил притаившегося врага. Иначе и тебя самого!.. «Попозже падения Берлина, перед «космополитами», в сорок восьмом, когда Михоэлса убили». Времечко-то на дворе, обгоревшими костями засеянное. А ты по нему, как йога какой по углям раскаленным, топал в своих яловых – не обжегся. А если не обжегся, значит – сыскал! Ну, сыскал? Доложись честной компании, дорогой наш человек не из романа Юрия Германа.

– Не вашего это ума дело!

– Сыскал! – с восторгом привистнул Гришук. – Интересные истории вытанцовываются, позволь только бойцам припомнить минувшие дни.

– А ты ослабни памятью, – за-

нервничал Илья Кузьмич. – Нава- лишь кучу, потом не разгребешь.

– Свое не пахнет, – донимал директора фотоателье Гришук.

– В таком пахабном случае делай под себя, а не под меня, как говорил Маяковский.

– При людях? – любопытствовал со смешком Гришук.

– А что?

– При людях под себя не ходят – пора бы знать.

– Ты уже один раз успокоишься?

– Вот поспрошаю Михайлыча и успокоюсь, как в мавзолее. Михайлыч!

– Да?

– Припомни, не уцелел ли еще кто-нибудь из ваших? А то Мазуркова держать на подозрении в данный момент неприлично...

– И небезопасно.

– Согласен. Тебя? Смешно и грустно! К тому же ты – догадываюсь! – понадобишься будущему в качестве свидетеля. То ли против Мазуркова, то ли... Вот тебя и держит Илья Кузьмич – наш уважаемый стрелочник – на запасных путях. Кто же предатель? Кто? Кто? Не мертвое чую... Живое... Припомни, Михайлыч! Кто в нашем раскладе выпадает на третьего лишнего?

Николай Михайлович вздохнул:

– Не было твоего, Гришук, третьего. Не было лишнего. Все там легли. Тут! – устало указал на дальний лес. И с той же усталостью, с какой поднимал руку, откинулся на спину, закрыв лицо газетой с портретом передового рабочего, взявшего повышенные обязательства к 30-летию Победы над фашистской Германией.

А не было ли на самом деле третьего? Мазурков считал – все погибли. Не досуже считал, не на пальцах. Такие не ошибаются. Хотя... могло произойти и наоборот, просто он вводил тебя в заблуждение. А ведь сведения у него были! Были сведения! Как им не быть, когда в Москве, при штабе партизанского движения, занимал не последнее кресло!

Но если все-таки обнаружился на радость сыску третий, кого, чтобы обезопасить свою папаху, легче легкого скинуть под откос? Кто же этот «лишний»?

Помнится, уже после войны, но еще до расследования, еще до «всенародной борьбы с космополитами»... Тогда... Мазурков тогда вновь стал доступным – либо проведал о «новых веяньях», либо предчувствовал близкое свое понижение, спасительное, если разобраться теперь.

Помнится, как торопил он тебя с «партизанским романом». Помнится, как материл тебя, прочитав рукопись:

– Ты что? Что ты! Забыл? В срок шестом... Фадеева!!! Размордовали!!! В клочки разнесли первый вариант «Молодой гвардии». Роли партийных наставников, определили, не раскрыл на должном уровне. Сейчас Фадеев пишет второй вариант, исправляется. А ты? Ты!!! Ты туда же? Где ты окопался, скажи?

– «В будущем... в нашей второй жизни... в нашей летописи... в нашей боевой истории...» – ответил ты памятными – его! – словами.

– Не передергивай с моего голоса! Это же я тебе говорил там! А тут? Сейчас?

– Времена изменились?

– Мы изменились! Теперь мы не ради Победы воюем, а ради ее осмысления! Дошло?

Не дошло. Ты был будто загипнотизирован прошлым, вспышками того костра, у которого сидел, обугленный невыносимым знанием, что твой, казалось бы, недостижимый рассвет уже вечность назад сожжен солнцем и похоронен наступившей ночью.

– Мое слово, товарищ Мазурков, в точности по вашей наводке, должно пережить всех нас, – говорил ты заученными словами, как в детстве на уроке литературы, когда цитировал классиков. – И оно, будьте уверены, переживет! И вместо боевых друзей моих Полины, Сцепщика и других войдет в послепобедные годы, в эти детские нашими вымытые лета. Войдет и поведает новому поколению – младому, незнакомому – святую правду нашей жизни и смерти.

– Войдет! Непременно войдет, как и обещал тебе, представляя к награде. Сам я лично открою тебе «зеленую улицу», Коля. Но учти одно: правда жизни и правда литературы – это не близнецы-братья. Вот же, вот! На какой – как ее – странице? Я сам красным карандашом отметил! Вот! Читай! Мои слова: «Главное, не забудь, от тебя зависит, чтобы в той, своей второй жизни и Полина, и Сцепщик, и все мы стали не просто какими-то игрушками в руках войны, а настоящими, сильными и мужественными, людьми, служащими примером для подражания». Примером для подражания! На эти слова и надо было ориентироваться, чтобы под твоим пером они

действительно стали еще краше и дерзновеннее, еще человечней и величественней. А ты? Возьмем хотя бы Машу. Как ты поступил с Машей? По-благородному? Ты же отправил ее на задание беременной! Беременной! На восьмом месяце! Что подумают люди о моральном облике наших... моих партизан? Мало тебе этого безобразия, ты своей писательской волей сунул ее в руки немцев. А потом... Потом, когда она, уже мертвая, разродилась своим пацаном... Кто? Я спрашиваю, Коля, кто в твоём романе усыновил этого... недоношенного? Кто? Не деревенский ли их староста? Что за фантазии у тебя парень? Антисоветчиной попахивают!

– А разве не так оно и было?

– Да ты что, Коля? Не на том свете живешь? Старосту – не понимаешь? – мы должны были... обязаны!.. А ты приписываешь ему человечинку, сердце с живицей – отзывчивое. На твой взгляд – так оно и было! А на мой, проверенный, взгляд – было совсем не так! Со старостой при допросах выяснилось: другого ребенка он усыновил, другого, не Машиного. Это было в наличии. И с Машей все вышло по-иному, противу твоих писательских фантазий. Она ведь не по мертвому разродилась своим пацаном – сведения проверенные. Это для тебя и таких, как ты, она осталась мертвая. Для нас – вполне живехонькая. С последующей, проверенной нами, биографией. Согласно шифрограмме, ее не под расстрел... Ее в лагерь определили. Разместили там при лазарете вместе с ее пацаненком. Спрашивается, за какие заслуги? Тайна! И след этой тайны утерян. Не объявилась больше Маша у нас. А потерянный след – это...

Кто ее знает, может, Маша, живет ныне где-то в Германии, в Америке. А если не просто живет? А если чем-то занимается, а? Я-то внутри убежден, Коля: среди нас нет живых. Проверено – мин нет! Но твой будущий редактор? Либо консультант из органов? Им указчик не я, а текст. Так что послушайся моего совета. Соедини в тексте Машу с Полиной, и получится у тебя обобщающий образ женщины-партизанки, героически идущей на смерть ради выполнения партийного долга.

– Какого – партийного? Она в партии не состояла.

– Примем ее заочно, Коля. Это же в нашей воле, писатель. И правда жизни переключает в правду литературы. Без всякого ущерба для себя и снижения морального уровня.

– Но ведь и Полина была беременна...

– Одна беременная на весь отряд – это ничего, допустимо... А две – это уже тенденция! Да к тому же Полина – это твое личное, так сказать, первая любовь, лирическая струя главного героя произведения. Словом, чистые чувства, разбившиеся о железную лодку долга.

– А Маша? По-вашему, мы там жили с закрытыми глазами? Разве Маша – не ваша «лирическая струя», товарищ комиссар? Не ваши «чистые чувства», разбившиеся...

– Не касайся моих чувств! У меня жена, дети, партийное, наконец, начальство!

– Постойте, товарищ Мазурков! «Жена, дети, начальство...» Ваш! От Маши! Старостой пригретый... Он не Туда ли загремел по общему семейному делу? Вместе со старостой?

– Не было никакого старосты! И никакого Машиного ребенка он не пригревал! Пора уже запомнить, что я тебе говорю. А то!.. И чтобы ты никогда не подшивал мне к делу этого пацана! Дошло, писатель?

– Дошло. Как не дойти? Я на очереди... Туда?

– Я тебе сам лично открою «зеленую улицу». Но не Туда. В литературу. На самые ее верха. Момент для твоих героев благоприятный, пойми. Пока чехвостят Фадеева за юных подпольщиков, не получивших от автора должного партийного прикрытия, самое то – выйти на авансцену с твоими юными партизанами. Их партийным наставником мог бы стать... Ну, подумай самостоятельно, кто бы мог стать партийным наставником юных твоих партизан...

– У меня не только партизаны. У меня и солдаты, и подпольщики. Словом, настоящая картина войны, увиденная, правда, если так можно выразиться, детскими глазами.

– Теперь пора увидеть ее и по партийному, чтобы не ошибиться с мировоззрением.

– Но я и сам не партийный!

– Тебе не обязательно. А что обязательно – это изобразить своих героев согласно историческому моменту. Забронзовелыми изобрази их. Сталин любит, чтобы люди – как памятники...

– Люди не памятники...

– А увидишь их памятниками, твой роман свидится с государственной премией. Не увидишь – головы не сносить.

– Мне?

– И мне тоже. Не дошло?

ХII

А ведь и впрямь, тогда до тебя не дошло. Сейчас, после «третьего лишнего», мелькнувшего в насыщенном алкогольными парами воздухе, кажется, доходит. Не Маша ли приняла на себя огонь, положенный «третьему лишнему»? Мазурков ее след потерял. Но не он же вел следствие. Следствие вел этот... нынешний директор фотоателье «Прогресс»... Рогов Илья Кузьмич. Ему и докапываться до истины. Ему и держать на крючке, до лучших времен, бывших подозреваемых.

Николай Михайлович смахнул с лица газетный лист, сел, подбрав под себя ноги.

– А ты прав, Гришук! Прав! – выдавил из себя. – Маша, получается, была у нас на «третьего лишнего», если, конечно, выжила

в лагере.

– В каком? Не секрет, Михайлыч?

– Для меня секрет. Мазурков намекал на немецкий, но у меня ощущение, что она и нашего ГУЛАГа не миновала. Правда ли – нет, я без понятия. А он... – палец в Илью Кузьмича, – поди, знает.

– Он не скажет! – Гришук задумался, потягивая понемногу, на болгарский манер, водку из стаканчика. – Лагерей в ту пору... было пораскинуто – ого-го!

– По обе стороны фронта.

– Точно. Грандиозно работали братья по классу.

Илья Кузьмич плюнул с досады.

– Заговариваетесь? «Братья»! Устаревший лозунг, да к тому

же... – поднапрягся на очередную двусмысленность. Но, видимо, не очень-то был в форме. – Братья – не товарищи. Их не выбирают, они нам природой даны. А природа не всегда удачлива на эксперименты.

Не совсем удовлетворенный сказанным, поплескал подле уха фляжкой, уверился – не на дне его коньячок, и ну присасываться к горлышку.

Гришук с заостренным вниманием наблюдал за ним, как бы выплывшим, неожиданно для себя самого, из полосы прибоя в тихую бухту.

– Ми-хай-лыч! – сказал в растяжку. – А ниточку, кажись, мы потеряли. Смотри, какой он стал умиротворенный, невосприимчивый.

– Чего же ты от него хочешь? – вмешался Семен Маркович. – В лагере найти ниточку... Целые комиссии пыхтели... Не ниточки ради – людей! Мне самому приходилось быть свидетелем по этому вопросу. А многих ли нашли? И найдешь ли у нас?

– А у нас в квартире газ! А у нас вчера корова родила чуток телят! Эх! – Гришук вылил в себя остатки водки из пластмассовой посудинки. – У нас! У нас! А что касается балета, мы впереди планеты всей! И коровьи рекорды у нас самые выдающиеся! И слияние города и деревни – самое передовое! И как обычно, временные трудности – из-за вечных вредителей в промышленности и сельском хозяйстве. Все это так. Но в отношении человека ты, Семенчик, как раз ошибаешься. Не человека ради – ниточки! – пыхтели комиссии. Ибо человек у нас и не человек вовсе, а ниточка, недообразованный ты, чудило. Потянешь за ниточку – дело и отыщется.

– Хватит вам, братцы-бурлаки. Тянем-потянем, не вытянем! – Илья Кузьмич рассыпал барственный смешок, колыхнувший его животик. – Додумались: человек – ниточка. Умно? Нет, не очень. Давайте исходить из реальности, а не фантазий. Что мы имеем, когда думаем по-фронтальному? Человека или живую силу? А ниточка? Вдруг она обернется красной нитью, протянутой сквозь жизнь...

– Или сквозь произведение? – насторожился Николай Михайлович.

– Про произведение не знаю. Но про ниточку могу дополнить. Подчас она способна обернуться и основополагающей нитью. Поняли? Не попляшешь на ней под чью-то дудку? Попляшешь! А нет, так нет: накинут тебе ее же на горло, и ходи с удавочкой, либо болтай ногами под ней. Кому как повезет. Но есть еще и третий путь. Впрягайтесь в эту ниточку и пашите-пашите. Целее будете! Так что предлагаю почтить память о вышеназванном человеке минутой молчания и в зал заседаний ввести на основополагающей нити нового...

– Чтобы он дал удобные для тебя показания? – поинтересовался с различимой в голосе иронией Гришук.

– И для вас тоже. Он же, этот новый, – двойственный. На уме у него одно, на языке другое. Очень милый, очень способный товарищ. Далеко пойдет... по новым установкам.

– Э-э, нет, Илья Кузьмич! На новенького мы пригласим не твоего товарища, а Машу. Мы еще не переучились в соответствии с веяниями. Мы живем по старинке. С опозданием перенимаем ваш передовой опыт: потянул за ниточку,

дело и отыщется. Хлопцы! Потянем, а? Пусть и не за ту ниточку. Не суть важно! Важно, что она – чую! – привязана к зубу мудрости нашего Ильи Кузьмича. А более того, важно, что мы потянем за ниточку, а вытащим, того и гляди, человека из забвения. Это, как я разумею, действительно важно во все времена... в особенности сейчас, пока наши времена не подбиты еще железными набойками с шипами.

– Ну, тяните сети, рыбаки! На вашем безрыбье и рак – рыба. Но прежде отыщите лагерь, в какой ее этапировали... коли в немецком не умерла...

Илье Кузьмичу наскучила эта долгая игра в криминалистику. Скрывая зевок, он помял пальцами челюсть, потянулся.

– Парни, солнце убегает. Мы за разговорами день потеряем и ничегошеньки не приобретем. Кончай историю, вернемся к нашим

баранам. Хотите, я вам про самого расскажу, про Брежнева? Расскажу, какими мы были там, на фронте, а?

– Про Брежнева мы в книжках еще читаем, как читали про Хрущева, Сталина, Ленина, – остановил начальника Гришук. – А про Машу книжек не издают. Так, Михайлыч?

– Так.

– Отсюда и вывод, Илья Кузьмич. Нам непечатные книжки интереснее.

– Ладно, вскрывайте могилки. А я покемарю. Не люблю непечатные вещи. Душок от них... коньяком не загасить.

Он улегся у газетного листа, пахнувшего свежей типографской краской, подложил руку под голову, учащенно пососал воздух ноздрями – и вот уже мягко растекся по травке, засопел, укачиваемый дремотой.

XIII

А введь и он читал тогда, в ходе следствия, рукопись отобранного у тебя романа. И он, как Мазурков, отмечал красным карандашом отдельные абзацы, главы, страницы. Может быть, и выискал что-то. Жуть берет, лишь подумаешь о таком повороте, неестественном, казалось бы, для человеческого мозга, но вполне вероятном для того учреждения, из окон которого видна Колыма. Не зря, наверное, и арестовал «после прочтения» роман. «Пусть полежит у меня в сейфе до поры, до времени».

Тебе мнилось, это «работа» Мазуркова. А если нет? Если все наоборот? Просто наверху собиралось досье на Мазуркова, и в романе на-

шлись какие-то, обличающие его факты, скажем, морального свойства. Или же и эти домыслы неправильные. И путеводная ниточка, выхваченная из рукописи, вывела следователя не к банальным интрижкам, а к раскрытию тайны предательства и гибели отряда. Но кто же выложил немцам координаты партизанской базы? Кто? И есть ли имя его в тексте? Вполне возможно. Иначе бы не штудировали роман столь придирчиво. Мазурков, Илья Кузьмич Рогов, хрен знает, кто еще из аппаратчиков от КГБ и литературы. Штудировали, изыскивали. Нашли? Маша? Нет, Маша и впрямь не годится на роль предателя. В этом случае

Мазуркову – «за потерю бдительности и любовную связь с врагом народа» – не сносить головы. Кого же выискали?

Эх, осудили тебя на жизнь, как на вечное тюремное заключение!

Тюрьма твоя – жизнь – переполнена людьми и давит тебя, не пускает к свету, гноит за решеткой чужих судеб, вроде бы расписанных пульей свыше тридцати лет назад. А если не пульей, то кем-то иным, кто, обмакивая перо в чернильницу, сверялся с арестованной рукописью, чтобы в результате вывести резолюцию колючей проволокой по живому телу.

Тюрьма твоя – жизнь! Но ты – ты! – ведь осужден за дело. Не писал бы роман – не мучался сегодня. А тот, другой, обнаруженный по путеводной ниточке в рукописи? Он за что? За то, что не вовремя попал в запрещенную к изданию книгу? За то, что выжил вопреки предписанной тобой смерти? За то, что осмелился дышать воздухом Победы, когда должен был разделить участь всех остальных партизан и лежать в братской могиле? За что?

Лучше бы не брался за перо.

Всем, должно быть, помешал.

Мертвым на том свете, живым на этом.

Мертвым – праздничные салюты, посмертное вручение орденов.

А живым?

На этом свете правильнее, когда живых нет...

И вот ты смотришь отсюда, с лужайки, на отреставрированную мельницу и страшишься мысли, что там и по сей день валяются где-то позеленевшие патроны – свидетели последнего боя Полины и Сцепщика, их второй, несостоявшейся по твоей вине жизни. Смотришь и знаешь: там, на мель-

нице, под стеклянным колпаком, в нижней ее, музейной, так сказать, части, хранится автоматная, от «шмайсера», гильза... А рядом с ней обрывок бумаги... А на обрывке бумаги обрывок стихотворения... Твоего... Памятного... Ей посвященного... «Мы не расстанемся ни в счастье и ни в горе. А, умерев, соединимся вновь...» Ты помнишь, как Илья Кузьмич, придерживая очки, влипал близорукими глазами в выцветшие строки. Он не догадывался, что ты бережешь на груди, как талисман, такую же гильзу и такой же обрывок бумаги с концовкой этого стихотворения. «Навек нас укачало одно море, известное под именем Любовь».

– Подписи нет – вот люди! – сокрушался Илья Кузьмич, прочитав вслух стихи. – Эх, ма! Еще юными следопытами называются! Полдела – обнаружить писулю. А выяснить: кто и зачем писал – слабо?

Прочел вслух «объяснительную записку», прикрепленную на подставке у стеклянного колпака: «Эта гильза найдена на месте боя группы партизан с преобладающими силами противника».

– Что же вам не ясно? – спросил Семен Маркович.

– Следствие не провели – вот и не ясно. Ничего не ясно! Как из учебника выписали. А где имена – фамилии? Я бы на их месте...

Но что совершил бы он, найди такую гильзу со стихами, Илья Кузьмич так и не сказал – не захотел делиться опытом.

«Навек нас укачало одно море...»

А вдруг в мире чужих людей это море известно не под именем Любовь?

Вдруг это море в мире Илья Кузьмича нанесено на карту человеческих отношений совсем в

ином качестве, как очень подозрительное море?

«Наши чувства прекраснее слов...»

А мир Ильи Кузьмича – в словах, выхолощенных для чувства...

Ты – кстати – тогда, сочиняя, угадал истину. А сейчас? Постарел. Переквалифицировался из поэтов в фотографы. И размяк в комфортабельной жизни, пахнувшей не дремучим лесом, а доской почета, прогрессивкой, левым заработком на свадьбах и семейных торжествах. Что с тобой произошло, человек? На поверку вызывают твоё прошлое. А ты? Не осрамись!

«Бойцы вспоминают минувшие дни»...

Вспоминай! Память важнее салютов. Ни на что у нас так не ополчились, как на память. Боятся памяти. Боятся. Вот и ты от страха её потерял. Напрягись, собери волю в кулак. Глядишь, и память вернется. Память – вечный двигатель. Не может быть, чтобы она не вернулась.

С чего начинается память? Если по песне из кинофильма «Щит и меч», то память, как и Родина, должна начинаться со двора, где ты носился взапуски с другими мальчишками-ветрогонями. Годится? Нет, не годится. Не припоминается по заказу. Как всег-

да, не припоминается «нужное» в данный момент. Не умеешь и это. Ты жил в себе, с давних пор жил в себе, и вдруг выясняется: и в себе жить надо умеючи – по заказу. Иначе «арестуют» твой роман, а тебя, даже не упрятав на Соловки, внесут в списки без вести пропавших для литературы. Тебя и тебе подобных. Переломают вам хребет и скажут: «Живите!»

Вот и живем. В ореоле посмертно вручаемых наград. Мы еще живы – приемные дети войны. Физически живем, стареем, седеем, топчем землю-матушку. Но те из нас, кто был осужден в семнадцать-восемнадцать лет на жизнь, умер сам в себе. И боевые ордена получает не спустя тридцать лет, а посмертно.

Уймись – из-зы-ди! – Илья Кузьмич, со «своей», нашедшей меня Звездочкой. Сегодня и я, умерший уже, вижу, что в сердце-вине её, на платиновой подушечке, греется – возвеличивает себя на искрящемся лагерьном снежке откормленная мордашка в добротном тулупчике со смершевской винтовкой наперевес.

Сегодня и я вижу такое, о чем мыслить раньше не смел. Вижу, хотя осознать до конца не могу это зрелище. Остается – помнить...

XIV

Помню, как, подъехав к мельнице, Илья Кузьмич, еще не поддатый до кондиции, сказал: «Здесь Николая наш Михайлыч кровью умывался. Пойдем, навестим музей. Пусть не его имени, но все же... И в ресторане отметимся. Поднимем бокалы в его честь».

В ресторане все было рестав-

рировано под лесную экзотику. Чучела глухарей на стенах, оленьи рога, а под ними перекрещенные карабины без затворов. Официант, и тот Бесфамильный, якобы партизанский сын.

Что значит – партизанский сын? А то и значит – никому, мол, не ведомо, кто его отец, кто его мать.

Этим Илья Кузьмич и надумал купить? И как ловко выстроил ситуацию под это «купить». Подо-звал официанта, парня лет тридца-ти, со шкиперской бородкой. Рас-толковал, что он за безупречное обслуживание заслуживает благо-дарственный автограф директора фотоателье «Прогресс» в книге от-зывов и предложений.

– Как ваша фамилия? – впер-ся шариковой ручкой в двуборт-ную грудь официанта, верный собственным высказываниям, что даже доверенное позеленевшей гильзе послание должно быть адресовано строго определенному лицу, дабы не возникла неразбери-ха потом, в проверяемое по учет-ным ведомостям время.

– Янка Бесфамильный.

– Почему Бесфамильный, если ты Янка?

– Можно – Ян.

– Я не об имени. Я о фамилии. Почему Бесфамильный?

– Извините, – улыбнулся офи-циант, обязанный быть вежливым. – Старая история, и вас она не ка-сается.

– Не торопитесь с заключения-ми, молодой человек. Новое место, новые люди. Интересно.

– Сюда не за людьми ездят. Сюда за выпить ездят и за пожрать вкусенького – дичь, раки. Итак, гости-товарищи, вам еще кувшин-чик пива?

– Да, пожалуйста.

Насущные потребности вну-треннего любопытства Илья Кузь-мич умел удовлетворять без про-медления, иногда и компанейски-ми методами.

Пригласил тебя, именно тебя – почему? – на рюмочку коньяка и повел на третий этаж к бармену, седовласому хозяину не только многочисленных бутылок с экзо-

тическими этикетками, но и един-ственной на все заведение книги отзывов и предложений. Распах-нул ее, эту скрытую совесть за-всегдатаев, и давай любезно рас-шаркиваться самопиской. «Прино-шу искреннюю благодарность Яну Бесфамильному за отличное об-служивание клиентов, участников Великой Отечественной войны, прошедших дорогами мужества до самого Берлина. Некогда и здесь, в этих лесных дебрях, мы постигали науку ненависти и до последней капли крови боролись с фашиста-ми и их приспешниками».

Бармен, с виду ровесник Илья Кузьмича, был тебе смутно зна-ком, и в голосе его звучали какие-то памятные по произношению нотки. Он долго, чуть не по сло-гам, изучал каллиграфический по-черк посетителя и, наконец, с ед-кой ухмылкой заметил:

– Однако мы по одним тропам с вами ходили. Но, пожалуй, в раз-ные сроки. Сначала – вы, потом – я. То-то вам потом было легко найти меня.

– Из «лесных братьев» будешь?

– А вы глазастый! Благодар-ствую вам! И я с вашей помощью превратился в глазастого. Из этих дремучих мест Сибирь увидел.

– Я тут ни при чем!

– Понимаю. «При чем» здесь – я. Имею честь, Шкворень Степан Лукич.

– Брось, Шкворень! Кто старое помянет – тому глаз вон!

– Это, получается, мне? Ах, ты, чурило! Мало того, что в Сибирь гнали, теперь и не вспомни о том – глаз вырвут.

– Не ершишь противу поговор-ки! Освободили, и сиди тихо. Луч-ше доложи, коли такой разговор-чивый, почему ваш официант без фамилии ходит?

– Почему без фамилии? Бесфамильный – и есть его фамилия.

– В наше-то время и Бесфамильный? Подкидывш, что ли?

– Однако и не подкидывш он все. Пацан – из детдомовских. Его мать, прилюдную женщину, немцы взяли в лесу, когда она вздумала там рожать. Мать – в лагерь, а малыша... Куда его такого? Отдали мне, как надежному человеку. Я был старостой в деревне, пока ваши не пришли. Дальше – понятно, ваши пришли, и я дал деру в лес. Малыша опять-таки куда? Девать теперь уже совсем некуда! Оперы и отрядили его в сиротский дом. Там и вырос. Без мамы, без папы. Бесфамильным вырос. Оттого и фамилия метит туда – в бесфамильность.

– А со мной он на эту тему и разговаривать не захотел. Стесняется?

– Другое... Янка малость тронут умом. Чуть ли не с рождения. Не трогайте его. Между нами, в официанты он попросился после того, как ребятишки отыскали эту гильзу с запиской. Думает, маманька его тут, на мельнице, стрелялась с немцами. Не докинёт мозгой – тронутый! – что родился за три месяца до этого боя. Так что вы с ним поосторожней, без намека на эту информацию. А то он не выдержит. Договорились?

– Со мной – сто процентов! – сказал Илья Кузьмич, опрокинул рюмочку коньяка и заботливо посмотрел на тебя: «А выдержишь ли ты, Николая наш Михайлыч?»

Ты выдержал... Мертвые пышут жизнью-здоровьем и способны все выдержать, пока не вынудят их ожить. Ты мыслишь, прикидываешь, ориентируешься в лабиринтах Ильи Кузьмича, определяешь – зачем? зачем поволок тебя

к бармену, бывшему старосте, тебе смутно знакомому? зачем расспрашивал о Яне Бесфамильном? Проверенно расспрашивал, словно сверялся в уме с потаенным в архивах «Делом №...» Кому известен номер этого клятого Дела? Если известен, то немногим, как и настоящая фамилия Яна. Но расспрашивал, расспрашивал с толком, целенаправленно, чтобы мысль твою запрячь в повозку воспоминаний и повернуть... Куда? Не в сторону ли Маши и Мазуркова? А для чего ему, Илье Кузьмичу, это? Какая цель в том, чтобы ты «угадал» в Яне Бесфамильном их незаконно-рожденного сына? Где смысл? В чем? Он не скажет. А ты?

Хитер Илья Кузьмич. Просто «инженер человеческих душ» – Сталинского призыва. Осознает – планирует: ты скажешь! Ты, сам не зная, что к чему, скажешь! Но тут и вопрос-заковыка: кому скажешь? Обществу? Общество закрыто для тебя. На тот же замок, что и литературные журналы и издательства. Выходит, скажешь самому себе. Себе? Странная ситуация. Илье Кузьмичу вдруг понадобилось, чтобы ты сказал сам себе нечто о Яне Бесфамильном – человеке, увиденном впервые в жизни. А что о нем ты можешь сказать? Что? Вряд ли тебя вывели на кровного сына Мазуркова и Маши. Мазуркову, который, должно быть, негласно «кукловодит» сейчас Кузьмичем, это лишнее во все времена. А что ему не лишнее, в особенности ныне, когда заново переписывается история войны, так это... Да! Присмотришься, все укладывается в одну обойму: награда нашла героя, герой строчит в газету свои воспоминания, внезапно обнаруживается его старый роман, и автору открывают «зеленую улицу» в литературу,

а по ней, «зеленой улице в лауреатскую литературу», следом за Брежневым, галопирует на белом коне Мазурков. Вперед, братцы-руководители, к Триумфальной арке! Ваши стратегического значения советы очень пригодились маршалу Жукову в контрнаступлении под Москвой, при защите Ленинграда, на Курской дуге и в битве за Берлин. Спасибо вам! Примите на свои натруженные в ратных подвигах плечи маршальские погоны, а на мундиры, послевоенного кроя и шитья, ордена Победы.

В этом логическом построении все просто, кроме «внезапно обнаруживается старый роман». Прежде, чем роман обнаружится, его необходимо довести до кондиции, причем под наблюдением матерых столоначальников из цензурного департамента «советско-партийной печати». То бишь, заново переписать.

Какая же связь между Яном Бесфамильным и перепиской романа? Выходит, Ян всего лишь манок. А ты, Николай Михайлович? Ты? Ты не охотник. Ты дичь. Тебе предназначено лечь на крыло, как перелетной птице, подобно како-

му-нибудь дикому гусю. И лететь, лететь, ожидая выстрела. Когда же он грянет? Как будут бить твою неуступчивость? Влет? На воде, густо замешанной золотой рыбкой всяких мелких соблазнов? Как?

Яна – якобы сына Мазуркова и Маши – тебе представили, судя по всему, в виде намека на то, что и твой наследник тоже плутает где-то здесь, в этом забытом Богом краю, куда Илья Кузьмич выхлопотал «под тебя» экскурсию. Где-то здесь... Но где? Наводчик твой знает – где. Знает, но не скажет. Права еще на раскрытие «государственных тайн» не имеет. Ждет от тебя догадок. Ждет, сам ты и догадаешься... Догадаешься, тогда и заговорят с тобой по-другому, на новый их лад, без расстрельной статьи, но столь же убедительно. И последует предложение, от которого, по их версии, отказаться невозможно...

Ох, Николай Михайлович, берегись своего отцовского сердца, когда распахнутся ворота твоей тюрьмы. Как бы тебе потом не отравиться собственным романом, «обновленным» под газетную правду.

XV

— А не поворотить ли нам, хлопцы, на новую тропку? – размышлял вслух Гришук, ковыряя в зубах обгорелой спичкой. – Наша дорожка никуда не ведет. Вернее, в лагерь, а там сам черт ногу сломит. Оборотимся-ка по велению Гоголя на самих себя. Это по чутью моему выходит – правильнее. Недаром ведь Илья Кузьмич собрал нас в одну артель, как в кулак, для присмотра и чтобы всег-

да под рукой были. Михайлыч – из Славянска. Семен – из Риги. Я вообще... вольный стрелок. А вишь... в одной обойме угнездились, в одном зубодробительном кулаке.

– Что же привлекло его к нам? – недоуменно спросил Семен Маркович.

– Подумаем и разберемся.

– Нечто общее? А что в нас общее? Я из гетто. Михайлыч из партизан. Ты из штрафников.

– И все же нас что-то связывает. Не кажется ли вам, хлопцы, что мы – ходячие носители полезной для него информации.

– Какой? – задумался Семен Маркович. – По твоим представлениям, Гришук, мы повязаны одной ниточкой. Могу согласиться. Но опять-таки позвольте спросить – какой?

– Покопаемся в себе – выясним.

– Покопайся заодно, Гришук, и во мне. У тебя это лучше выходит. Я... только трону память... все в гетто возвращаюсь, в гетто. К синагоге на улице Московской, немцы ее заколотили и подожгли. А там ведь люди сгорели заживо... евреи... папа... мама... бабушка...

– А ты?

– Я спрятался. Меня добрые люди приютили. Спасли. Теперь в их честь дерево посажено в Иерусалиме. Праведники мира! Дочка моя постаралась, их святое имя вывезла в Израиль, в мемориальный институт жертв фашизма. «Яд вашем» – называется.

– Семенчик! А тебя наши освободители не допрашивали? Других фашисты сожгли, ты единственный спасся... Неувязка получается.

– Допрашивали, Гришук! В нашем фильтрационном лагере, куда меня сразу после освобождения определили. «Всех убили, – допрашивали, – а тебя нет? За красивые глаза? А ну, выкладывай – за какие коврижки?»

– Значит, в этом общем для нас с тобой, Семенчик, фильтрационном лагере и начнем копать в себе, искать путеводную ниточку. Мы оказались в нем в одно время, но по обе стороны штыка. Ты с той стороны, где штык кусается. Я с обратной стороны, ближе к затвору винтовки. Вот и не познакомились напрямки.

– А заочно?

– Ты прав... Если покопаться в архивах, и твоя стриженная мордашка отыщется на пронумерованных моих негативах. Но они не у меня – сданы под расписку и по сей день хранятся «там, где надо».

– Я тебя помню, Гришук! Ты нас всех для личного дела щелкал на пленку.

– Меня тогда, Семенчик, вновь обручили с камерой. Специалистов не хватало, чтобы запечатлеть всех подозреваемых: выжили смерти назло – а почему? Каждого, кто из плена вернулся или не помер в гетто, под микроскоп. Назови свидетелей твоего хорошего поведения. Кого ни назовешь, все опять – неувязка. Тоже лагерник или пленный. И ему не обойтись без свидетелей. Так всех этих свидетелей и повязали. А выжившим евреям совсем невмоготу было. Они остаться в живых, по плану Гитлера, просто не имели права. Следовательно, и вызывали наибольшее подозрение. Редко кому удавалось проскочить сквозь фильтр. Тебе удалось, Семенчик. Разыскал-таки надежного свидетеля?

– Ты же все знаешь, Гришук!

– Я знаю. Илья Кузьмич, разумею, тоже в курсе. Но сейчас нам нужны не общие знания, а частности – «детали», как говорят сыщики и газетчики.

– За меня поручились, Гришук.

– Кто? Чин какой с голубым окольшем?

– Да главврач нашего фильтрационного лагеря. Бенья Блехман.

– Он тебя хорошо знал?

– А как же, Гришук! И меня и родителей, вечная им память! До войны мы на одной улице жили. Возле синагоги. Когда же я попал к нему, за его колючку, мигом признал в нем Бенью Блехмана. И он меня, слава Господи, тоже. А стоит

двум евреям признать друг друга за человека, тут уж не помочь – это... не знаю, что это... Свиньей надо быть, чтобы не помочь!

– Помог?

– Поместил меня санитаром в лазарет. В женское отделение. А потом...

– Потом, Семенчик, ты вышел на волю. И не один. А с дочуркой, младше тебя не настолько, чтобы тебе в ту пору именоваться с отчеством.

– Не именуюсь, и что из того? У нас... Как мне известно, у них в Израиле все ходят до преклонных лет без отчества. И ничего...

– Не стареют?

– Надеюсь.

– Так что эта твоя дочка ходит в Израиле без отчества?

– Да не эта! В том и фокус, Гришук. В Израиль уехала моя вторая... настоящая дочка! А первая... приемная... Этот... – Семен Маркович кивнул на посапывающего Илью Кузьмича. – Этот спящий лев нас с ней, приемной моей... и разлучил. Забрал Басеньку... И с концами... Как в прорубь...

Семен Маркович глотнул воздуха, придерживая сердце рукой. И поспешно наливает себе водки.

– Забрал, говоришь? А на каком основании?

– Какое основание, Гришук? Дочка врага народа!

– Какого?

– Я знаю? Так мне и доложили!

– А куда ее отправили – известно?

– Говорит, в детский сад ее поместили. В какой? Он и сам – без адреса. У них там разделение труда. Он – отнимающий, а кто-то другой – распределяющий по детским домам.

– Не пробовал отыскать?

– Пробовал, но пока без поль-

зы. Надеюсь, что он...Илья Кузьмич... как-нибудь, когда позволено будет, наведет справки, поспособствует...

– Поэтому и сидишь здесь, не едешь в Израиль к младшенькой?

– Не приставай, Гришук, с вопросами! «Ехать – не ехать? Брать с собой зонтик или с пустой головой отваливать?» Найду Басеньку, тогда и решим – по-семейному: ехать к Розочке или не ехать.

– Найдешь или нет, это еще вилами на воде писано. А где ты ее выискал в первый раз?

– Чего тут неясного? Я же в лазарете, в женском отделении... А там такое! Душу переворачивало! После всего, понимаешь, Гришук, опять в это – боль... муки... Невыносимо! Там женщина на моих глазах умирала... Вера Безумная...

– Безумная?

– Нет, это не фамилия, так она назвалась. Безумная... Нас не за своих принимала. За немцев. «Фашисты! – кричала, – фашисты!» А в ногах у нее дитя. Басенька. Это я дал ей имя – Басенька. В честь моей мамы, сгоревшей в синагоге. Так и приютил девочку. Настоящего имени ее не знаю, как и Веры Безумной. Поговаривали, она партизанка, была схвачена немцами, там у них в кутузке и с ума сошла.

– У них с ума сошла, а у нас померла...

– Померла... Такая история... Бенья Блехман мне и посоветовал: «Возьми девчужку. Что ей всю жизнь по сиротским домам маяться?» Как в воду глядел. Не уберег я малышку от сиротского дома. Будто это ей на роду было написано.

– На роду, Семенчик? Не иначе именно поэтому Блехман и посоветовал тебе удочерить Басеньку. Спасти ребенка, разумею, хотел с твоей помощью. Да не вышло.

– Насчет планов – «спасти, не спасти» – мне не ведомо. Со мной он такими секретными штуками не делился.

– Тоже побаивался. Ты же пацан пацаном был – проболтаешься. А ему – сидеть за неосторожное слово. Но что-то он знал! Знал он что-то про эту Веру Безумную! Знал нечто потаенное, что связывает всех нас воедино в этой фотоартели, на этом дознании. А? Эй, Михайлыч! – затормошил бывшего партизана. – Вспоминай! Имеч-

ко у лесной красавицы приметное – Вера Безумная! Не из ваших?

– И да, и нет. Она не воевала. Она чистая и для тех, и для этих. Безумная. Так и понимай – безумная. И никакая другая...

Николай Михайлович замолк, сознавая, к сказанному ничего не прибавить. Какой спрос с убогих даже под пыткой? Слова их к делу не пришьешь. А чувства? Кому проникнуть в их чувства? Разве что такому же безумцу, родственной душе...

XVI

Вера Безумная... Ты ее помнишь. Чернявая, остроносая хохотушка цыганистого толка, в разодранном платье, босая. Появилась в отряде неведомо как, неизвестно откуда. И исчезла также неведомо как, неизвестно куда – будто растворилась в воздухе. Сыпала смешком, а глаза мертвые, всегда в одну, в какую-то запредельную небесную точку повернутые. Должно быть, в самую что ни на есть потустороннюю, куда ушел ее расстрелянный фашистами табор, их ведь, цыган, как евреев преследовали и уничтожали.

Вера Безумная... Грызла хлеб с жадностью, а просыпанные крошки не собирала. Отряхнет с колен – насытилась! – и к небу выплывать в танце, прикрыв мертвые глаза руками. Мягко двигалась, по-змеиному. Плавно перебиравла ногами, скользила к костру. А у огня, искрящего в ритмах неведомой музыки, слышимой только ею, взмахивала крылатыми руками и...

Что за чудо была эта пляска! Сколько страсти, сколько душев-

ной красоты! Представлялось, еще секунда, и оторвется Вера от земли, прокатится над верхушками деревьев серебряным колокольчиком и упокоится в тихой зоне лунного сияния – где-то там, на извиве Млечного пути, у семейной кибитки расстрелянного в кочевье табора. Но не оторваться ей от земли, не прокатиться серебряным колокольчиком над верхушками деревьев, не упокоиться в тихой зоне лунного сияния. Тщетна попытка человека преодолеть тяготение самого себя. И она, обессиленная и бессильем своим вдруг обезображенная, бросалась к костру, чтобы сгореть – и пусть уже не серебряным колокольчиком, но огненной искоркой достичь неба. Это надо было видеть! И еще, ощущая душевный озноб, быть настороже, упредить ее отчаянный рывок к смерти.

Вера Безумная...

Вечерами, когда звезды рассыпались по небосклону, она томилась, вышептывала, будто в забыты: «На каждую сгоревшую

звезду приходится чье-то рождение. Но сколько их, посмотрите, сгоревших звезд! Сколько выгоревшего между ними черного пространства! Мне не возместить этой потери небу! Мне не разродиться!»

Ночью она вползала под одеяло – под любое, не разбираясь, чье. «И ты – ты! – дай мне и ты сына. Я должна вернуть небу звездочку. Как много я должна небу! Сколько звезд! О, господи, мне не разродиться!»

Помнится...

Однажды Вера Безумная забралась под одеяло к тебе. Спросонья ты обнял ее, проникся податливой нежностью тела. И осознав это, испуганно, скорее страдальчески вскрикнул, как это и бывает во сне. Разбудил ребят, породив пересуды и смешки. Тогда и поссорилась с тобой Полина. Впервые не поверила тебе.

«Да ничего же не было!» – убеждал ты.

Но она печально качала головой...

Тогда ты и написал: «Мы не расстанемся ни в счастье и ни в горе...»

Тогда ты и разорвал бумажку со стихотворением на две части и вложил обрывки с двусторонним в автоматные гильзы.

«Это наша клятва! – сказал ты с юношеской горячностью. – Храни!»

Ты остался навсегда с этой давней клятвой. Пусть и не всегда – после войны – был верен той, живой прежде Полине, но памяти о ней и первой любви своей был верен постоянно. Даже сейчас, когда, казалось бы, открылось в тебе второе дыхание для чувств, которые в созвучии со стихами прекраснее слов, и ты с тихой

благодарностью за подаренное счастье думаешь о Нине, о зарождающемся в ней твоём ребенке. Как это ни странно прозвучит, но Нина для тебя – словно продолжение Полины, продолжение прерванной войной первой любви. Так ли это в действительности, не так – не тебе судить. Просто так – тебе легче. Словами, менее прекрасными, чем чувства, ничего не объяснить. И Нина все это понимает. А, понимая, не осуждает. Впрочем, может быть, ты всего лишь убедил и себя, и Нину в этом, чтобы тебе было легче. А Нине? Она не скажет. Опять-таки понимает и не пробует что-либо исправить, переписать по-своему. Редактор – не она. Редактором в любовном романе становится жизнь. Она и пишет, она и переписывает, и вычеркивает при разрыве отношений целые главы. А ты? Ты исполняешь свой человеческий долг перед жизнью.

Долг?

Снова долг...

Бойся придуманного долга, Николай Михайлович! Он, придуманный, уже один раз осудил тебя на жизнь, как на тюремное заключение. Учись у Веры Безумной. Она пришла в отряд без всякого подчинения какому-то долгу, пришла за небесными звездами. И ушла столь же неожиданно, неся в себе, как считала, эти небесные звезды. Стремилась серебряным колокольчиком прокатиться по Млечному пути. А умерла вполне по земному, среди чужих страданий. Умерла в пропащем хлоркой бараке, оставив миру всего одну звездочку, безымянную звездочку, затерянную ныне в бесконечном людском космосе.

Прислушивался или нет Гришук к мыслям Николая Михайловича, но первое, что он сказал, было:

– Она, ваша Вера Безумная, не умерла – выжила. Я тому свидетель. Так что, получается, доктор Блехман обманул Семенчика, передавая ему на удочерение ребенка. А зачем обманул, спрашивается? Вероятнее всего, чтобы спасти девочку.

И тут, нарушив общее напряженное молчание, последующее за словами Гришука, со стороны речки раздалось:

– А вот и я!

Нина выветрилась из-за пригорка, в купальнике, с полотенцем и джинсами через плечо.

– Ты? – как-то растерянно спросил Гришук, за расследованием своим не заметивший, скорей всего, ее ухода.

– Открыла сезон! Искупалась!

– В таком твоём положении, – нахмурился Николай Михайлович.

– Весна – для всех весна!

– Ранняя весна. Вода, поди, холодная.

– Отличная вода! Отличная! На пятерку! И вас надо в воду по уши. От вашей водки. А то пропаритесь – грузи вас потом в автобус.

Николай Михайлович пригрел ее, сладко подрагивающую под его рукой, надавил большим пальцем на пухленький с пушком носик:

– Би-би, стоп машина! Приехали... Мы-то как раз за разговорами о водке забыли.

– Пора ей и напомнить о себе. А то обидится, градусом обделит, – спохватился Семен Маркович разливать.

Гришук принял стаканчик, пожевал тонкими губами.

– Помянем, хлопцы, Веру Безумную. Не мертвую помянем, живую.

Нина губами к уху Николая Михайловича – затекла речной капелькой за ворот.

– Кто такая? – встряхнула мокрыми волосами, потемневшими после купания.

– Не помнишь? Я тебе о ней рассказывал. Цыганка.

– А-а...

Нина поискала глазами фляжку с коньяком. Ловко, не потревожив посапывающего Илью Кузьмича, вытащила из одутловатого пиджачного кармана, и в колпачок – до краев.

Выпили молча. Все вместе. В общей тишине. Тяжелой тишине, болезненной.

Выпили. Закуску не тронули. Закурили, истратив на троих две спички: укоренено – «третий от одной не прикуривает».

Гришук с присвистом выгнал из себя сигаретный дым, сбил зажелтым пальцем курильщика пепел, тяжело вздохнул.

– Истинная правда, не умерла она, ваша Вера Безумная. Не умерла... Не позволительно ей было тогда умереть. Как так? А так! Они, эти спящие львы, не позволяли. Вычислили, сверяясь с их секретными ведомостями жизни и смерти, что она и не она вовсе. Притворяется в фильтрационном лагере той, кем отроду не была. Вот и не позволили ей умереть. Сверху капнуло: выяснить всю ее подноготную. Назови свидетелей твоего хорошего поведения! А она? Она сквозь подступающую

смерть: «Ха! На вас, граждане судьбы! Я ваша Вера Безумная. Я всегда и везде! А вам? Вам – свидетелей? Вашей Vere Безумной не нужны свидетели! Обратитесь к звездам – они дети мои. Обратитесь к людям, они братья мои. Обратитесь к жизни, она любовь моя. Но ни к кому вы не обратитесь. Вам нужны не свидетели, а их наказания. Пишите сами, не надо неволить других – и наверх! Я подпишусь. На небе поймут: здесь, за колючкой, погибает их Вера Безумная».

Задрожало у Гришука веко. Незряче посмотрел на прокушенный фильтр сигареты. Чертыхнулся. Зубами вытащил стекловату фильтра, отплюнул эту прокопченную до коричневого цвета дрянь на газетные листы – к передовику-производственнику, взявшему повышенные сообразительности к тридцатой годовщине Дня Победы.

– Она... она... Играла она, хлопцы. Играла в Веру Безумную. Значит, знала, кого играть, и знала, как играть! Играла она... Сверху-то капнуло почему? Потому что там, наверху, увязывали эту Безумную с разгромом твоего, Михайлыч, партизанского отряда. Откуда имею сведения? Оттуда!.. Не верите? Хорошо... бросим кости... откроюсь. Да не смотрите так, не смотрите!.. Не по «голубенькому», под их околыши открываюсь. Просто теперь уже можно и о тайном. Я ведь видел запрос. Тот, спущенный сверху! Оттого и влип. Нет, не оттого влип, что видел. Если бы видел поумному, только для запоминания, другое дело. Вернее, и дела нет. А оттого влип, что привык все видеть через видеоискатель. На этом и погорел! – дрожью пальцев Гришук добрался до бутылки. Унял

от прикосновения к стеклу душевный озноб, переболел и медленно, без выплеска, наклонил горлышко над стаканчиком. – Снимал я... официально снимал стриженные мордашки, документы и все прочее... А неофициально... Снимал я и по секретке, для себя и для будущего, но то, понятно, что снимать запрещалось. Механика проста: я снимал, а проявляли другие. А в тот день, когда сфоткал запрос, спущенный сверху, поддатый был. Перепутал пленки. Дал на проявку не ту, что требовалось. И всю жизнь перепутал вместе с этими сучьими пленками. Дураком был, дураком и остался. Но это я. А Вера Безумная... Она и не она была вовсе. Целую пленку израсходовал на ее мордашку. Портретам этим цены сегодня нету. А у меня ни одного. Все – наверх... наверх, туда, где самый крупный околыш, из «голубеньких», на глаз прикидывал, на сколько лет отсидки тянет мое искусство. И оценил, голуба!

– Мазурков? – напрягся от неожиданной догадки Николай Михайлович.

– Ты знаешь? Я знаю? Он знает? – замученная Гришуком сигарета осыпала пепел на выгретого сном директора фотоателье «Прогресс». – Может, и Мазурков. Илья Кузьмич прав. Так мне и скажет, проснувшись. «Люба! – скажет, – не гоношись на основополагающей нити. Задушит, голубчик, если ты не впрягся в нее. А впрягся – паши, дорогой!»

Внезапно Гришуку показалось, что Илья Кузьмич приоткрыл левый глаз и будто бы подмигнул ему со значением. Он потряс головой: а не пьян ли под завязку? Присмотрелся – спит начальник его, спит, животиком слегка

колышит, храпом обогревается, а чтобы глаз распахнуть, так причудилось это тебе, разлюбезный ты мой человек. Не распахивал глаза – не раскрывался из глухой отключки. Чувствовал: не пришло еще время распахиваться-раскрываться, накладывать железную резолюцию «слушали – постановили!»

– Мазурков? – переспросил сам себя Николай Михайлович. – Все шансы на то, что это был Мазурков.

Гришук усмехнулся.

– Будешь в Кремле, поинтересуйся у него.

– Так меня и пустили.

– согласишься переписать роман – пустят, информацией снабдят.

– А не соглашусь?

– Сначала согласишься, чтобы получить информацию. Много любопытного узнаешь. Ради этого есть резон согласиться.

– Я тебе, Гришук, не подопытный кролик.

– Конечно, душу мы не продаем. Мы не из классического произведения товарища Гете под названием «Фауст». Мы родом из собственного романа... как его, кстати, по имени, Михайлыч?

– Мы были такими, какими были...

– Очень оригинально! «Каким ты был, таким ты и остался», – Гришук усмешливо затянул песню из кинофильма «Кубанские казаки».

– Не остри! – разозлился Николай Михайлович. – Твои шуточки на нашей крови замешаны.

– Ах, на крови? Уже под Кузьмича канаешь? А не выкипишь ли ты собственной кровью, ежели дать тебе на перечитку этот роман? Двадцать семь лет прошло, как на-

писан. Поди, устарел во всем.

– Ни в чем он не устарел! В нем заложено такое, что и сегодня под запретом. Роман не просто о людях на войне. Он о приемных детях войны. О тех, кого война вырастила – дала путевку в жизнь. А среди них – не только русские, украинцы, что у нас позволительно во все времена. Но и евреи... А это и ныне не позволительно. Евреев в нашей литературе надо изображать забитыми и раздавленными, прикрытыми от унижения и спасенными от гибели «старшим братом». Мой роман давал бой всем тем, кто утверждал, что «евреи воевали в Ташкенте». У меня евреи и на фронте, и в партизанах – везде, где сражались с фашистами. А тогда, в сорок восьмом, еврейская тема попала под запрет. Солломона Михоэлса сталинские фашисты грузовиком в стену вмяли, еврейскую культуру под нож пустили, а на всех нас, оставшихся в живых, нацепили – взамен желтых звезд – ярлыки космополитов. Кого убили, кого кинули в лагерь. А ведь это не чужие мне люди. Родственники... Друзья... Те, кто жив ныне только на страницах моей неизданной книги! Теперь и концов не сыскать: кто из них – где?

– Тогда почему бы тебе все же не согласиться на предложение Мазуркова? Подпишешься под переделку романа, а сам и выяснишь их судьбу. Судьбу человека выяснишь. Одного, другого, третьего. Может, и спасешь кого-то от посмертного навета. Как это было со Стаховичем из «Молодой гвардии». С легкой руки Фадеева он вышел в предатели, а...

– А отозвалось это на евреях, – перебил Николай Михайлович. – В

особенности на детях – школьницах. Кому-то из «голубых околышей» фамилия Стахович оказалась еврейской. Ну и пошло... А на дворе время стояло не безобидное. «Безродными космополитами» время уже было засеяно, ждали рекордный урожай по снятию голов всяких Рабиновичей, Александровичей и примкнувших к ним Стаховичей.

– Помню, Михайлыч. И ты не забывай. Иногда надо прищемить самого себя дверью за яйца, чтобы не забывать былой боли. Вот тебе мой совет. Напросись в Кремль. На свидание к Мазуркову. Якобы для сбора дополнительного материала. Заодно и спросишь по-дружески, как у бывшего сослуживца: кто она, Вера Безумная?

– Не скажет...

– Скажет – не скажет, попытка – не пытка.

– Для меня – пытка.

– Да... Скорей всего, он тебе, Михайлыч, ничего не скажет. Как и этот, – указал стопарем на Илью Кузьмича. – Все они одной нитью повязаны, основополагающей. Точь-в-точь на подобию «зеков». Хотя... у «зеков» воли побольше, чтобы оставаться самим собой. У этих – ни воли, ни остатков желания быть самим собой. Им бы красоваться на транспарантах...

– Или в романах, – подхватил Николай Михайлович.

– В придуманных романах, – поправил Гришук. – Однако согласись, Михайлыч, в тебе есть нечто... Что? – не имею понятия. Но в тебе есть такое, что в твои сочинения, может быть, даже помимо желания, вползает какая-то опасная правда. Какая? Опять не имею понятия. Но, видимо, такая, какую эти спящие львы боятся хуже расстрельной пули. Вот тебе и

нужно воспользоваться выпавшим лотерейным случаем. Второй раз арестовывать твой роман они не станут, в особенности, если его направит в печать Мазурков. Пиши – переписывай, и не беспокойся: твоя, скрытая от них правда, проскользнет в народ. Кремлевским властителям, помни, это не нужно. Это, помни, нужно нам, людям. Правильно я говорю? – Гришук повернулся к Семену Марковичу.

– Мы тебя слушаем, – ответил тот. – Но ты отвлекся, Гришук? Чем же закончилась история с Верой Безумной?

– Убрали ее, Веру Безумную. Убрали из нашего лагеря. Убрали... Им определять, кто она на самом деле. Вот и определили: не Безумная она Вера. Им и следы заметить. А проще... Сверху пришла резолюция на мои снимки: «по внешности указанная на фотографиях женщина не является в наличии Верой Безумной». Кто же она в действительности?

– Распознали?

– Была и такая бумага. Сверхсекретная! На нее не то что в доискатель пялить zenки... ее, как говорится, «до прочтения сжечь!» Что там было, в той писуле, «кум» знает. А «кум», известно, делает жизнь с товарища Дзержинского, и никому – слова лишнего, даже по дружбе. Но было там... было! Наверху изучали мои фотки знающим глазом...

– Мазурков? – Николай Михайлович задавил окурочек в траве.

– Я не знаю – кто! Я знаю другое! Ее, Безумную Веру, определили-вычислили на самом их верху... и куда-то убрали. И еще я знаю – она и не она вовсе. А кто? Это не в раскрой моих мозгов. Напрягись, Михайлыч, подумай – кто?

– Если «на самом верху» Мазурков, то она – Маша. Но Мазурков самолично говорил мне, что ее след потерян. Маша? Да, она была знакома с Безумной Верой... Но какой ей смысл? Смысл?

– В плену была... запачкана.

– Нет, Гришук! Прикидываться кем-то, чтобы ненароком не бросить тень на своего возлюбленного... Не запятнать его партийную честь... Слишком это...

– Она, положим, не видела смысла выгораживать его. А он, Мазурков? Что у зайца трясется, когда прищемить ему яйца? Хвост! Он и ослаб в хвосте. Любовь-любовью, – подумал, – а жизнь дороже. К тому же – законная жена, дети... Припомни, Михайлыч! Тогда и указ вышел: возвращайтесь-ка мужики-фронтовики от своих ППЖ – походно-полевых жен – к довоенным, ЗАГСом зарегистрированным супругам. Вот Мазурков и убоился своих «тесных партизанских связей» и предал Машу.

– Забоялся или нет – не в этом вопрос, Гришук! Вопрос в другом. Маша была все же не приبلудной Верой Бузумной. Она из спецшколы, радистка. Приставлена лично к Мазуркову, секретные его депеши передавала в центр. Таких людей

не просто знают в лицо, их хорошо под микроскопом изучают прежде чем послать на задание. К тому же, – не мне тебе рассказывать – какой в спецшколе учет кадров: фотка, подпись в анкете, да и отпечатки пальцев. Не верится мне в резолюцию Мазуркова – «Маша». Что-то тут не стыкуется. Обознаться в таком деле – и когда? после гибели отряда, при поисках предателя – это похлеще, чем «внебрачные связи». Но если это он помечал своим красным карандашом твои фотокарточки, то... Думаю, он пометил их без ошибки. Он знал всех нас. Знал в лицо. А память у таких людей, как у официантов, – без изъяна.

– Кто же она?

– Ты ждешь, Гришук, я тут же и скажу: «из нашего отряда». Но я так не скажу, хотя ясно – она была близко знакома с Верой Безумной. Однако эта цыганка появилась у нас неизвестно откуда и исчезла неведомо куда. В какой день взяли ее немцы? Перед отлетом Мазуркова на Большую землю или потом? Ты мне ответишь на это? Нет, Гришук, ты не ответишь. Это в твой видеоискатель не попало! А это самое важное! Когда?

XVIII

Травят твою душу, мучают... Выищи, братец-кролик, правду там, где ее нет. В пустоте искать – самого себя потерять. А ведь самого себя ищешь всю жизнь, и вдруг взять и потерять. Найти же чужое «я» среди шестидесяти миллионов обезличенных цифирок в лагерной робе – это и нобелевскому лауреату по матема-

тике дано ли? Никому не дано, потому что непозволительно. А кому дано и позволительно, тот не «математик». Не доложит он о своих вычислениях людям.

Нина, выгреваемая рукой Николая Михайловича, чувствовала: холодеет рука, будто отливает от нее кровь, будто задыхаются в ней от нехватки живительных

соков метрономы-пульсики. Ей ли не знать, как вслед за этим костенеет его тело? А глаза? Глаза вслед за этим плывут мутным стеклом, и он, Михайлыч, уже и не человек, а гипсовая отливка то ли самого себя, то ли людей, убитых на войне, – застывает с мучительной гримасой на лице от желания сказать что-то, но сказать не в силах.

«Как приговор был для тебя металлический щелчок взводимого Полиной затвора...

Как приговор был для тебя отброшенный Сцепщиком окурок...

И ты пошел...

А в заспинье, на мельнице, каждый твой шаг отмерялся автоматными очередями: осужденные на смерть выговаривали у нее жизнь для тебя...

Приговоренный к жизни, ты заводишь мертвым».

Нина с жалостным сознанием беспомощности прижималась к Николаю Михайловичу. И отдавая ему свое тепло, богатое двумя жизнями – ее и постукивающего в ней детского сердечка – поглаживала замершую на ее плече руку.

– Михайлыч! Михайлыч! Ау, очнись! Не переживай. Сколько лет... Вера, Маша – какая разница? Человека-то уже нет. Только эхо от человека, как и от всей войны. А ты эхом живешь. Глохнешь в нем. Зачем? Береги себя лучше. Змеехваткое эхо это. Убивает, не глядя.

– Нинуль, ты права. Убивает, даже посмотреть на себя не дает, – вынес на губах, пока что послушных, Николай Михайлович. – Так не вернее ли, чтобы

убило? Всех наконец убило!? Напоевал и навсегда – раз, и все! А то мы все... все мы убиты... на той проклятой войне убиты... но будто понарошку... как в детской игре... не до конца... Убиты, чтобы встать по приказу и бежать дальше, вспоминая, какие подвиги нужно совершить по пути для наших командиров-кукловодов. А если не встанем – не победим по приказу, то нас, Нинуль, добить необходимо. Добить, чтобы мы – живые свидетели – не мешали. А вас, таких как ты, и тех, кто родился попозже, уже после Победы, пропитать тем же эхом войны, но гораздо более ядовитым. Пропитать фальшивыми именами и фальшивыми подвигами. Подумай, Нинуль, и согласишься: правда моя. Ты же сама не человек, а эхо той войны. Ты им рождена, змеехватким, им и воспитана. Ни отца, ни матери... никого! Всех побил фашисты. С этим и жила, кормясь то ненавистью, то болью. От детства до техникума. От техникума до ЗАГСа. От ЗАГСа до развода. От развода до встречи со мной. Эхо... Что же это сделали с нами кукловоды? Что за страсть у них – превращать живых людей в эхо себе подобных? Вдумайся, Нинуль, какое жуткое слово – эхо... Эхо само по себе не живет. Вторит кому-то... И страшно, очень страшно, пойми, если вторит оно по приказу, вторит не человеческому голосу, а отравленному собственной непогрешимостью рупору. И змеехватким становится, и ядовитым... Где уж нам устоять? Да и выжить ли? Ох, Нинуль, одного боюсь – это эхо добьет нас. Не выдержим...

«Жизнь и смерть... Если разобратся, то у этой медали обе ее стороны оборотные. Твоя жизнь обернулась смертью Полины. Смерть Веры Безумной обернулась надеждой для неизвестной женщины. Однако ее надежда на жизнь была перечеркнута красным карандашом какого-то приКремленного голубого околыша. Жизнь и смерть... Кто же она, это женщина из фильтрационного лагеря?»

– Ма-ша? – Николай Михайлович кинул руку ко лбу, и этим резким движением как бы спугнул нарастающую в глазах стеклынь. – Какой же я болван! Маша? Нет, нет, вспомнил! У меня в романе... Эх, давно я сам себя не перечитывал! А писателю без этого... Без этого писателю жить – как без собственной памяти. Впрочем, можно обойтись и без романа. Мазурков! Точно, Мазурков! Он ведь не слухами питался. «Разродилась своим пацаном», – сказал о Маше. Достоверно, без капли сомнения. Пацаном! А у этой неназванной женщины, играющей Веру Безумную, девочка. Тут что-то не сходится. Нужна ему чужая девочка, когда от собственного сына отказался. «И чтобы ты никогда не подшивал мне к делу этого пацана! Дошло, писатель?» – говорил со злостью. Это я – писатель. Когда поиздеваться, тогда – «писатель». А из меня писатель, по его представлениям, как из него... Впрочем, по его представлениям, из него – хоть Брежнев, хоть Гречко. Лишь бы плечи на мундире ватой подбить для маршальских погон, и лады – будто одна мама родила.

– Роди его обратно, – сдохмил Гришук.

– Подожди, подожди! В этом что-то есть. А не попробовать ли нам родить обратно кого-то другого?

– Попробуй, если ты уже мать-героиня.

Николай Михайлович шутки не принял.

Семен Маркович тоже.

– Кого?

– А официант? Ян Бесфамильный? Чернявый, как цыган. И – характер! Не сын ли он настоящей Веры Безумной? Не той, Семенчик, что притворялась ею в лагере и оставила тебе дочку.

– Басеньку...

– Не той, Семенчик! Настоящей Веры Безумной! Немного не того, как и она. И объявился здесь... был найден, по словам бармена, вскоре после исчезновения Веры из нашего отряда. А она... помнится, она тогда «тяжелая» была. «Не разродиться, – плакала. – Сколько во мне звездочек! На все небо!» Помню – припоминаю... Моя Полина ходила за ней, как за маленькой. Боялась за нее, берегла, чтобы с ней чего худого не приключилось. Она же тогда, Вера наша, вовсе из ума вышла... Ей вот-вот рожать, а она: «Не хотят мне больше ваши лесные люди дарить ночные звездочки. Уйду я от вас, фашисты!» Да-да, «фашисты»! По злости Вера Безумная называла и наших подчас «фашистами» – попадись ей только под шальную руку.

– И это ей сходило? – спросил Гришук.

– Безумная!

– Я не об этом? Разговорчики о том, что уйдет из отряда, будут похлеще «фашистов».

– Понимаю, куда клонишь, Гришук. Поэтому и вышел приказ: запереть ее в блиндаже. И пока не родит, на волю не выпускать. А то сбежит, потом передислоцируйся от греха подальше.

– Цыгана арестовывать – хуже дела нет. Из-под любого замка уйдет. Свободолюбивая нация.

– Угадал, Гришук. Этим арестом только навредили себе. И...

– Сбежала?

– Сбежала – сбежала! Как в воздухе растворилась.

– И никаких слухов?

– Разве что сейчас... Бесфамильный... Не затем ли водил меня Илья Кузьмич к бармену, чтобы я догадался... признал в нем сына Веры Безумной? Ему, нашему начальничку, почему-то нужно, чтобы я сегодня догадывался и догадывался... Время пришло. Причем догадываться мне нужно не самотеком, а по руслу, проложенному им или самим Мазурковым. Вот поэтому и делает вид, что спит. А эти люди никогда не спят. Они – наблюдают.

И Николаю Михайловичу, как прежде Гришуку, почудилось: распахивает Илья Кузьмич левый глаз, внимательно просквизивает взглядом насквозь, примеряется: «А что, коли намотать твою душу на палец и этим же пальцем припечатать тебе щелбана? А, любя? Устоишь? Помни: вожди требуют песен. Их есть у меня. Но твои. Споем в унисон, на три голоса? Ты на портативной машинке. Вождь на трибуне. А я вам от имени народа подпевать буду. Ордена поделим полюбовно. А не хочешь, как хочешь, и лети себе, птица

небесная – от гонорарных ведомостей и лауреатских званий – лети себе, лети, пока крылья держат. Это тебе кажется, что – «пока крылья держат». А нам так не кажется. Ружья у нас безотказные, порох бездымный. Бить тебя будут влет».

Из задумчивости Николая Михайловича вывел Гришук.

– Ты полагаешь, что Ян Бесфамильный – это и есть единоутробный сын Веры Безумной?

– Я полагаю, ты полагаешь... Мы все полагаем, а он, – кивнул на Илью Кузьмича, – пролагает. Русло он пролагает. Вот и догадывайся.

– Чего же тогда? Не тяни душу! Пришло – догадывайся!

– По его руслу?

– Все одно – лабиринт.

– Что ж, Гришук, попробуем – по его руслу. Причинно-следственная связь такая. Если Ян действительно сын Веры Безумной... если Маша действительно родила тоже сына... то неизвестная женщина из фильтрационного лагеря – это...

– Полина, – едва слышно, как спросонья, но с оглушающей отчетливостью произнес Илья Кузьмич, будто и себя пропитал эхом минувшей войны. Но пойдя проверь – эхом жизни или эхом смерти...

– Что? Она же погибла!

В мозгу застряло занозой: «Бить тебя будут влет, Николай Михайлович!»

– Голуба! А ты лично ее хоронил?

– Что?

– Нет человека, и дела нет. А есть человек... и дело найдется. – Илья Кузьмич тяжело поднял с травы свое откормленное тело, уселся на траве, положив

на колени потертый портфель из крокодиловой кожи о два никелированных замочка и два узких ремешка с застежками. – В твоём построении, Николя наш Михайлыч, предостаточно допусков. Ещё одним «если» больше – что с того? А ведь оно напрашивается, дорогой мой человек, напрашивается.

– Но ей-то, Полине? Ей какой смысл? Зачем ей легенда?

– А что девушке оставалось ещё делать? Представь себе, что она не погибла тогда на мельнице. Попала в плен, потом в лагерь. Потом из того лагеря в наш – фильтрационный. Чисто-сердечное признание – ей же во вред! Представиться партизанкой из уничтоженного вскоре после пленения отряда? Себе дороже! Оформят тут же в предатели. А вот напялить чью-то личину... Сам говорил, Николя, она присматривала за Верой Безумной. Почему бы ради спасения дочурки не притвориться кем-то? Цыганкой так цыганкой. Чего проще и естественней? Цыганка – дитя природы, как перекасти поле, ни за что не отвечает, безумная, и все тут!

– На поверку выходит, Илья Кузмич, ты... Полину ты вычислил? В предатели определил?

– Так тебе все и доложи. Я? Полину? – директор фотоателье «Прогресс» возмущенно скрестил руки на груди. – Кто тебе это сказал? Я? Это ты сам и вычислил, по своему кустарному расследованию. Я просто подсоединил последнее имя к списку, тобой обнародованному. И довел твоё интеллигентное упражнение по логическим построениям... до логического конца. Наливай!

– Постой! Если это Полина, то её дочурка – это... – Николай Михайлович слепо уставился на Семена Марковича, суетливо ищущего что-то в извлеченном из пиджака портмоне.

– Басенька! Басенька! – пробормотал Семен Маркович, вытаскивая старую фотографию.

– Чертовщина какая-то! Что же это выходит, Семенчик? Выходит, твоя Басенька – это... Моя дочушка?

Нина поспешно перехватила руки Николая Михайловича, и лицо умывать в его ладонях, жарких, воительных. Вырвутся руки, вознесутся, обернутся в кулаки. Нет, не дать его пальцам заостреться! В них смерть!

Но пальцы костенели. Пальцы рвались, костенели, из-под пальцев её, тоже потных, тоже воительных. И вот уже вырвались... Вот уже жадно хватают воздух... Тянутся – распрямляются... Нет, не к Илье Кузмичу тянутся пальцы. К Семенчику... А Семенчик? Семенчик зависает над газетными листами со снедью и выпивкой. Волосы слиплись: ух, как заметна пролысина на макушке! Лицо – будто размытый негатив – не пропечатывается. В губах дрожь утопленника: сам без сознания, почти умер, а губы все ещё дергаются от земного холода.

– Михайлыч!

(Это Семенчик. Его голос. Но какой у него голос? Плаксивый, махонький...)

– На, Михайлыч, погляди! Доча моя... твоя Басенька.

(Подрагивают пальцы. Вибрирует фотокарточка... Вот она, пожелтевшая. 9x12... С фигурным рубчиком... На ней девчушка... В белом платье... И с медвежонком...

Что за наваждение? Вспорхнула вдруг девчурка, и – в воздух, по дуновению ветра, плавно-плавно, пока не спланировала на жестяную крышку «бычков в томатном соусе». Девчурка... Бантик на голове. А в руках медвежонок... Прижимает медвежонок и будто бы говорит: «Смотрите на меня. Я не одна. Я с медвежонок. А медвежонок не простой. Вглядитесь, у него мордашка с носиком. Надавишь на носик, медвежонок и зарычит». Но не вглядеться. Не вглядеться в девчурку с медвежонок. Господи! До чего же слезы мешают!)

– Как же это так, Михайлыч? – мямлит Семенчик. – Ты не того... Я не претендую... Я... Твоя она... наша Басенька... Он... Он! Илья Кузьмич подтвердит. Он обещался похлопотать, выяснить, куда ее подевали... Даже на днях обещался: «Николе нашему Михайлычу орден отыскал, а уж твою красавицу и подавно сыщу. Ты не бойсь, Михайлыч! Сыщет. У него нюх. «Политрабочая ищейка, – он говорит, – знает, что ищет. А кто ищет, тот обязательно найдет».

Семен Маркович не осознавал – кончился! – что говорит и как говорит. Надо говорить, вот и говорит.

Не сознавал он и того, что фотокарточка уже вечность назад выскользнула из-под его прыгучих пальцев.

Не сознавал и того, что фотку эту, от возраста линияющую, выхватила уже с жестянки Нина.

Не сознавал – да и куда ему «сознавать» в бестолковом своем состоянии? – что Нина несет ее, всматриваясь, к глазам Николая Михайловича, несет и не доносит до его глаз, замирает, вымучивает лицо потерянной улыбкой. И все в

ней кричит, надрывается: «Нинка! Нина! Нинуля!»

– Да что это такое? – произносит она вслух и не слышит себя, будто находится на глубине, в знобящей воде, когда каждое слово – взалех и приводит к смерти. – Там же, на карточке... Там Мой медвежонок. Мой! Мордашка с носиком. Там девочка с Моим медвежонок! По сегодня Моим. И сынишкиным... Ой, мамочки! – и ее, уже тоже прыгучие пальцы, потянулись к щеке Николая Михайловича, под его руку, чтобы дрожью его пальцев унять дрожь своих – разнесчастных. – Ой, мамочки! Господи! Что же это такое? Что же ты с нами, Илья Кузьмич, сотворил такое?

– Успокойся, Нинусь. Тебя не привлекают за полубоковые отношения с собственным папой.

– На фотке не я?

– На фотке ты. Но мама твоя – не Полина. Мама твоя, запомни, – Маша... А папа... твой папа – Мазурков.

– Но он же говорил, что у него пацан! – вскричал Николай Михайлович.

– Тебе говорил, чтобы сбить со следа. А меня не запутаешь.

– А меня? А меня? – взвился – изошел красными пятнами Семен Маркович. – Что же ты меня путаешь, Илья Кузьмич? Всю жизнь путаешь? Что же ты мне раньше не говорил, что Нина – это моя Басенька? Я бы уже давно уехал с ней в Израиль! К Розочке!

– Она русская. Она с тобой не поедет предавать Родину, – усмехнулся чему-то своему, потаенному, директор фотоателье «Прогресс», полковник в отставке Илья Кузьмич Рогов.

И глаза, все глаза, казалось бы, даже глаза девчушки с маленькой

фотографии потянулись к Илье Кузьмичу. А его глаза, повернутые на них, на людей, убитых войной, разрастаются в зрачках – черных жерлах охотничьего ружья. И выцеливают, с убойной дистанции выцеливают...

Курки взведены. Порох высушен.

Но вместо команды: «Пли!» диссонансом доносится:

– Вот какая хреномудрия получается в итоге! – высказался, сплюнув, Гришук и наполнил стаканчик водкой. – Я же не зря утверждал: мы все одной нитью повязаны. Той, основополагающей. Наша политрабочая портняжка беспрюирышное дело шьет. Тут и компромат на Мазуркова, если за собой наверх не потащит. Тут и книжка о его боевых подвигах, если смекнет, что к чему, и потащит.

– И тебя потащит, чтобы лишнее не болтал, – поспешно заверил Илья Кузьмич.

– А Семенчика – приемного папу его дочки?

– И Семенчика потащит, если он в Израиль не уедет прежде. И Николеньку нашего Михайлыча потащит – негласный зять все же, как ни крути. И Нинусь нашу не обидит – потащит.

– Пусть ее сначала за единокровную признает!

– А это уже не от меня зависит.

– А от кого?

– От Николи нашего Михайловича.

– Как так?

– Роман его по сути дела документальный. По нему и сверка событий. Отыщут там страницы про любовь, состоится и удочерение. Я же говорил: правда кусается, когда она в печатном виде. А нет, так нет.

Гришук повернулся к Николаю Михайловичу:

– Отыщут у тебя там что-нибудь стоящее про любовь?

Николай Михайлович пожал плечами:

– Не помню. Я давно сам себя не перечитывал.

– Какой же ты писатель? – деланно сокрушался Илья Кузьмич.

– Себя надо перечитывать-переписывать. Бери пример с классика нашего Льва Николаевича Толстого. Начало «Анны Карениной» двадцать раз переписал. А тебе один раз – и то лень.

– Брось издеваться!

– Я не издеваюсь.

– У классика нашего никто рукописи не арестовывал!

– Зато его предавали анафеме. Это похуже! Ан не сдавался, сидел за стол, и писал-перекраивал, исправлял погрешности стиля... А ты?

– Вот пристал, зараза! Забыл? Чтобы сесть за рукопись, надо для начала иметь ее на столе.

– Что ж, Николя наш Михайлыч, дело это поправимое. Не забывай, что я твоя ходячая библиотека, – невозмутимо сказал Илья Кузьмич, распахнул портфель крокодиловой кожи и извлек на свет божий толстенную папку, на которой фиолетовыми чернилами выведено «Мы были такими, какими были».

Николай Михайлович схватил рукопись, стал лихорадочно перелистывать машинописные страницы, боясь натолкнуться, как встарь, на ремарки, сделанные красным карандашом. Но к собственному удивлению, их не обнаружил. Не обнаружил и тех листов с текстом, которые, как помнилось, вымарали «искусствоведы в штатском».

– А где?.. – недоуменно взглянул на Илью Кузьмича.

Он показал пальцем – вверх.

– Изъято цензурным комитетом.

– Но тут – сплошное крошево из моих текстов, ужато до невозможности.

– Пиши жалобы по адресу: Москва, Главлит, дяде Ване и трем его подцензурным сестрам.

– Но я не нахожу ничего о Маше! – возмущенно воскликнул Николай Михайлович.

– Крошево – расширишь, а о Маше присочинишь по обстановке. Тебя соориентируют.

– А главы с Мазурковым? Двадцать три страницы! Как королева языком...

– О нем не беспокойся. О Мазуркове тебе пришлют потом.

– Что значит – пришлют?

– Отредактируют изъятое, и пришлют.

– Я в соавторах не нуждаюсь!

– А тебе никто и не навязывает соавторов! Дадут справочный материал. А ты пиши себе, пиши. И – все проблемы.

– Ничего я вам писать не буду!

– возмутился напоследок Николай Михайлович и – незаметно для самого себя – погрузился в рукопись.

Как давно он сам себя не перечитывал...

Как давно...

И как узнаваемо каждое слово...

Как узнаваемо...

От первого – до последнего...

Ну, конечно, ведь это слово – его...

И о нем...

«Мы были такими, какими были»...